

Д. Л. МОРДОВЦЕВ

СЕРИЯ «МАТЕМАТИКА»

ЭЛЕМЕНТЫ
МАТЕМАТИКИ

ПЕРВАЯ
КНИЖКА



Даниил Лукич Мордовцев

Замурованная царица

Роман из жизни Древнего Египта

I . ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО ФАРАОНА

В стовратных Фивах, в столице фараонов, торжество.

Массы египтян всех возрастов и полов толпятся около гигантского, с причудливыми исполинскими колоннами и пилонами храма Аммона-Горуса. Нил запружен лодками: это народ стремится с заречной, с правобережной стороны Фив переправиться на левобережную, чтобы видеть готовящееся торжество. В воздухе стоит невообразимый гул и говор. Только длинная и широкая аллея сфинксов, ведущая к храму, свободна от толпы, потому что ее оберегают от наплыва любопытных вооруженные длинными копьями «мацаи» — нечто вроде полицейских и сыщиков; гранитные великаны-сфинксы, протянув перед собою львиные лапы, безмолвно глядят своими гранитными очами в неведомое пространство. К людскому говору присоединяются звонкие крики орлов, стаи которых с Ливийских гор постоянно налетают к шумной столице фараонов и спиральями кружатся над нею в голубом, как бирюза, небе.

— Дедушка! — говорила маленькая, десяти-одиннадцати летняя девочка с бронзовым личиком и курчавой головкой, указывая на резные изображения на пилонах храма. — Кого это бьет по головам вон тот страшный человек?

Девочка обращалась к старику, державшему ее за руку.

— Это, дитя, сам фараон поражает своих врагов, — отвечал старик, глядя курчавую голозку девочки, — то, видишь, влево: великий Аммон подает ему боевую секиру.

— А что там, дедушка, написано? — любопытствует девочка.

— А то, дитя, начертаны слова самого бога. АммонГорус говорит фараону: «Сын мой, происшедший из чресел моих, ты, которого я люблю, господин двух миров, Рамзес! Я привожу к тебе вождей южных стран с детьми их, сидящими на спинах их...»

— Да, да, дедушка, смотри, вон они на спинах, да все маленькие, — лепетала девочка.

— Такие же, как и ты, дитя, — улыбнулся старик.

— Зачем же бог Аммон привел их к фараону?

— А вот зачем, дитя. Бог говорит фараону: «Пощади жизнь тех, которых ты изберешь из среды их; убей из них столько, сколько ты найдешь нужным».

— Ах, дедушка! Слышишь музыку?

— Идут! Идут! — пронесся говор по аллее сфинксов. Мацаи торопливо стали приводить народ в порядок, махая копьями.

В конце аллеи сфинксов, в противоположном храму, показалась процессия.

Впереди шли ряды музыкантов и хоры певцов. Воздух огласился дикою музыкой барабанов, труб и флейт. Это был военный марш великого Рамзеса-Сезостриса, марш, под ужасную мелодию которого он покорил весь тогдашний мир, залив его реками крови. Музыка сменялась хорами. В этой новой мелодии было что-то еще более ужасное: в ней слышались и рыкание львов, и плач крокодилов Нила, и клекот орлов пустыни.

Так открывалась величественная процессия венчания на царство фараона Рамзеса III, или Рампсинита.

За музыкантами и хорами певчих выступали в богатых одеяниях, блестя золотом и пурпуром, родственники и приближенные фараона с верховными жрецами в полном облачении.

За ними — высоко в воздухе покачивались с метрической плавностью носилки и трон самого фараона, предшествуемые старшим сыном Рамзеса, который сожигал перед царственным отцом благоухания земли Пунт.

Величественно-напыщенная фигура Рамзеса хорошо видна была для всей собравшейся толпы. Украшенный всеми знаками царского сана, он сидел на золотом троне, а голову его осеняли своими крыльями изображения правосудия и истины. Там же, у трона, — золотые фигуры сфинкса и льва — эмблемы мудрости и мужества. Лев, казалось, грозно смотрел на толпу, охраняя трон монарха земли фараонов. Длинные, из красного и черного дерева, носилки, украшенные золотом и драгоценными камнями, покоились на плечах двенадцати «эрисов», или военачальников, которых головы украшены были страусовыми перьями. Носилки и трон окружили прелестные мальчики — дети из жреческой касты, которые несли скипетр фараона, футляр его лука, колчан со стрелами и другие знаки царского достоинства.

Но что особенно поражало зрителей — это громадный лев, который шел рядом с носилками, постоянно поднимая свою косматую голову вверх, чтобы взглянуть на Рамзеса. Это был его любимый, прирученный с детства лев — «Смам Хефту» — «раздиратель врагов», которого вел на золотой цепи маленький внук верховного жреца Аммона, смуглолицый мальчик лет двенадцати. Лев привык к своему маленькому вожатому, играл с ним и позволял даже ездить на себе верхом.

Вокруг всей этой группы — вокруг носилок с тронem, фараоном, вокруг эрисов, жреческих детей и льва — кольцом обвивались сановники, которые своими блестящими опахалами навевали прохладу на своего повелителя, насколько мог дать прохлады знойный воздух тропиков при мертвой тишине, не колеблемой даже ни малейшим дуновением ветерка с Нила.

Вслед за носилками шли восемнадцать царевичей — детей Рамзеса (старший шел впереди носилок, куря благовониями земли Пунт). Они шли по два в ряд. У младших из них, еще не достигших возмужалости, от висков спускались на щеки черные как смоль «локоны юности» — признак принца царской крови.

За царевичами, тоже по два в ряд, выступали начальники войск, а затем уже колонны воинов с луками и колчанами за плечами.

Недалеко от храма, на площади, обведенной полукругом из сфинксов, процессия остановилась. Носилки были поставлены на землю, и Рамзес сошел с трона, поддерживаемый эрисами.

Площадь и толпы народа, казалось, дрогнули от испуга. Они увидели бога!...

Это был белый, как горный снег, молодой бык — Апис. Добродушная морда животного,

кроткие, огромные, несколько выпученные глаза, бессмысленно глядевшие на блестящую процессию, — все это как-то не вязалось с понятием о грозном и всемогущем божестве. Но такова сила человеческой глупости: все — исключая жрецов, и то немногих, — верили, что это — бог, Апис-Озирис. Все упали на колени: кто воздевал руки к божеству, кто распростерся ниц.

Впереди Аписа шел жрец, куря фимиам перед священным животным. Бык шел послушно: он знал, куда его ведут. Богу долго не давали есть, он проголодался, но хорошо знал, что если верховный жрец идет впереди с курильницей, то, значит, — скоро богу дадут кушать. Вслед за Аписом двадцать два жреца несли на драгоценных носилках, в форме паланкина, самую статую божества, Амона Горуса, из чистого медианитского золота, а другие жрецы богатыми опахалами и ветками олеандров в цвету навевали свежесть на это золотое божество.

Рамзес присоединился к этой священной процессии. Возложив на голову один венец — венец «нижней страны», он пошел вслед за Аписом. За ним понесли статую Аммона-Горуса, окруженную жрецами, из которых один громко возглашал предписанные на этот случай молитвы, другие девятнадцать жрецов несли разные священные предметы, а еще семь выступали с небольшими золотыми изображениями предков и предшественников Рамзеса, которые символически, в вещественных образах, принимали участие в торжестве своего дальнейшего потомка.

Миновав пилоны, священная процессия, с быком и фараоном во главе, вступила во внутренний двор храма, с одной стороны обставленный колоссальными колоннами, капители которых украшены полураспустившимися лотосами, с другой — пятью массивными каменными пилястрами, к которым прислонены такие же колоссальные статуи фараонов с атрибутами Озириса.

Но здесь процессия не остановилась. Она прошла этот двор и другие пилоны с изображениями побед Рамзеса и вступила во второй, еще более обширный двор, окруженный галереями с богатыми скульптурными изображениями и статуями царей.

Вступив на этот двор, Рамзес поднял голову. Глаза его остановились на западной галерее, и смуглое лицо фараона просветлело. Оттуда смотрели на него его дочери и жена, царица Тиа. Всех царевен было четырнадцать, из которых иные смотрели еще очень юными: их-то невинные личики и разглядели суровое чело грозного фараона.

Увидев Аписа, царица и царевны благоговейно преклонили колена. Но вот фараон уже в храме, перед жертвенником Аммона-Горуса. Его встречает первенствующий верховный жрец с амфорой помазания и елеем в одной руке и с двойным венцом в другой. Это венец «верхней и нижней страны» — Верхнего и Нижнего Египта.

Апис, стоящий рядом с фараоном, начинает изъяслять нетерпение, беспокойство. И причина понятна: проголодавшийся бог видит на жертвеннике сноп зеленой, сочной, с налитыми колосьями пшеницы и около снопа — золотой серп. Бык очень хорошо понимает, для чего все это приготовлено: его сейчас будут кормить этой прелестной пшеницей, и глупый, недогадливый бык, словно простой смертный, деревенский бычок, протягивает к снопу свою добродушную морду. Но догадливый, продувной жрец кадит у него под самой мордой благоуханиями, которых бык терпеть не может, и он пятится назад от снопа. Ах, как ему надоели эти куренья! Ничего не поделаешь — надо терпеть, а иначе есть не дадут. И, наученный горьким опытом, бог молчит и только тихим мычанием изъясляет свою волю на венчание Рамзеса III венцом обоих Египтов — от моря и Мемфиса до пределов «презренной страны» Куш-Эфиопии. И первенствующий верховный жрец, совершив обряд помазания на царство, умастив голову фараона благовонным елеем, возлагает на него двойной венец.

А Апис все ждет... И когда все это кончится!... Как противен для него запах этого елея! Как

противен дым курений!... То ли дело зеленая, сочная пшеница — эти налитые молоком колосья!... А надо ждать...

После этого венчанный царь совершает возлияние божеству, Аммону-Горусу.

Тогда начинается обряд «четырёх птиц». Из внутренней части алтаря, из святилища, недоступного для смертных, выносят четыре золотые клетки со священными птицами — ибисом, кобчиком, вороном и орлом. Верховный жрец поочередно вынимает их из клетки и выпускает на все четыре стороны света — на север, на восток, на юг и на запад: эти птицы, гении бога Озириса, должны поведать во все концы мира, что Рамзес III, следуя примеру Аммона-Горуса, венчался символами его владычества над всей вселенной. Апис все ждет, следя своими добрыми, изумленными глазами за полетом птиц... Зачем это они делают? А затем, чтобы потом дать ему вон те удивительные колосья... Он это хорошо понимал — он хорошо помнит, что то же самое проделывали с ним жрецы, когда несколько лет тому назад венчали на царство фараона Сетнахта-Миамуна... И тогда дали ему вот эти удивительные колосья... А где же девался этот Сетнахт-Миамун?... Бык ничего не понимал — и терпеливо ждал...

Наконец-то!... Рамзес протягивает руку, берет золотой серп и срезывает полную горсть пшеницы. Жрец с противным куреньем отступает в сторону, и Рамзес дает Апису порядочную кучку колосьев... Ах, как вкусно!... С каким наслаждением он жуёт эту прелесть и снова протягивает свою морду к снопу.

Тогда с верхней галереи сходят царица Тиа с царевнами, и начинается трогательная сцена: юные царственные египтянки обступают Аписа и то благоговейно, с любовью гладят мягкую, шелковистую, чистую шерсть священного животного, то суют ему в рот колосья, а он их жуёт и жуёт с наслаждением, поглядывая на девочек своими кроткими глазами.

В это время Аммон-Горус, сопровождаемый половиною жрецов, удаляется в свое святилище [1].

II. СВЯЩЕННАЯ ДЕВОЧКА

Когда кончился таким образом обряд венчания на царство Рамзеса III, жрецы Аписа двинулись в обратный путь со своим богом, в храм Аписа-Тума, находившийся недалеко от Рамессеума великого Сезостриса. И на этот раз впереди священного быка шел жрец и на золотом блюде сжигал благовония.

При приближении Аписа к крайним пилонам храма Аммона-Горуса, где была особенно многочисленна толпа зрителей, старик, который в предыдущей главе разъяснял своей маленькой внучке изображения и надписи на пилонах, видимо обнаруживал знаки величайшего волнения. Он прижимал руку к сердцу, как бы стараясь удержать его биения, то поднимал глаза к небу.

Теперь он, при виде Аписа, нагнулся к девочке, как бы затем, чтобы пригладить ее волосы.

— Так все помнишь, дитя? — спросил он шепотом.

— Все помню, дедушка, — отвечала девочка.

— Что ж ты скажешь? — продолжал старик.

— Я скажу про себя: «Великий бог Апис-Тум! Освети мою невинную душу божественным

лучом очей твоих; дай мне, чистому ребенку, твою силу для доброго дела», — пролепетала шепотом девочка.

— Хорошо, дитя... Только не забудь взглянуть ему в глаза.

— Не забуду.

Сказав это, девочка, гибкая и тоненькая, как пальмочка, вьюном проскользнула вперед к самым мацаи, охранявшим порядок шествия. Старик лихорадочно следил за ее движениями. При виде бога толпа снова дрогнула, и кто упал на колени и протягивал руки к божеству, кто распростерся ниц. В этот момент девочка, юркнув мимо мацаи, очутилась как раз перед Аписом и упала на колени, скрестив руки. Черные глаза ее с боязнью уставились в изумленные глаза священного животного. Бык остановился на минуту. Мацаи было бросились к девочке, но жрец, возжигавший курения, остановил их.

— Не отгоняйте детей от лицезрения бога, — сказал он повелительно, — сам великий Аммон принимает невинных детей на свое лоно.

Бог уже нагнул было голову, чтобы бодаться — ему одного маленького снопа было недостаточно — он был еще голоден, как девочка уже юркнула в толпу.

— Она священная... девочка священная теперь, — прошел шепот удивления по толпе.

Все старались взглянуть на нее, подойти ближе, заговорить. Она сама теперь чувствовала, что совершила что-то необыкновенное. Она это видела в глазах других, слышала это в шепоте удивления окружавших ее, замечала это в том благоговейном удивлении, с каким глядели на нее женщины. В ней заговорила бессознательная радость — гордость совершенного подвига. Она, казалось, преобразилась — выросла в один момент, возмужала. Хорошенькое смугленькое личико ее стало еще прелестнее.

Шествие между тем продолжалось. Апис уже подходил к колоссальным статуям фараона Аменхотепа III, которые до настоящего времени слывут ошибочно под именем колоссов Мемнона.

Фараон Аменхотеп III был царем Египта восемнадцатой династии, около 1680 лет до христианской эры. В Каире, в Булакском музее, можно доселе видеть статую строителя этих колоссов, надпись на которой, между прочим, говорит от лица этого строителя: «Возвысил меня царь Аменхотеп III в звание верховного строителя. Я увековечил имя царя, и никто с древнейших времен не сравнялся со мною в работах моих. Для царя создана была гора песчаника — он есть наследник бога Тума (заходящего солнца). Я действовал на основании собственных вычислений, когда под моим руководством высекались из хорошего крепкого камня две статуи в этом великом здании (в храме Аменофиум). Оно подобно небу. Ни один царь не сделал ничего подобного со времени, когда солнечный бог Ра владел страной. И так, я наблюдал за изваянием этих изображений — его, царя, изображений: они удивительны и по ширине и в высоту, по вертикальному направлению; фигура их в оконченном виде делала ворота храма низкими — сорок локтей мера их... Я приказал построить восемь кораблей. Статуи на них отвезены и поставлены в его великолепном здании. Они будут вечны, как небо» [2].

И гениальный скульптор колоссов не ошибся: от стовратных Фив, от храма Аменофиума, от дворцов и храмов Рамзеса Н-Сезостриса и Рамзеса Ш-Рампсинита, от всех богов Египта остались только обломки на месте Фив, обломки камней, мусор да колонны полуразбитые; имя фараона Аменхотепа III, чью личность изображали эти колоссы, давно забыто в истории, а колоссы все стоят в грозном величии вот уже почти 4000 лет, и будут еще стоять долго-долго на удивление последующим поколениям...

Старик и девочка между тем затерялись в толпе.

— Кто эта девочка, — спрашивали любопытствующие, — чья она?

— Неизвестно... Слышали только, что старик назвал ее Хену.

— А кто этот старик? Отец ее или дедушка?

— Это знает только бог Хормаху всевидящий [3]: он освещал своими лучами ее детскую колыбель.

А между тем те, о которых говорили в толпе, пробирались к берегу Нила, выше Мединет-Абу. В густых тростниках их ожидала небольшая лодочка, которую можно было с трудом отыскать. Но старик, по-видимому, хорошо знаком был с местностью. Он без труда отыскал лодку, привязанную к толстому стволу тростника, отвязал ее и взял лежавшие на дне ее весла.

Девочка с легкостью котенка вскочила в лодку.

— Дедушка, — сказала она, — дай мне одно весло, я буду грести.

— Хорошо, дитя, — с улыбкою отозвался старик, — только ты не сумеешь.

Он оттолкнул лодку и сам в нее вскочил с легкостью юноши. Лодка вышла из тростников и направилась к другому берегу Нила. Девочка грести усердно, стараясь брать в такт с дедом.

— Отчего же, дедушка, Апис — бог, а другие быки не боги? — спросила она, видимо находясь под впечатлением недавно испытанного.

— Оттого, дитя, что в Аписа вселилась душа АммонаГоруса, — отвечал старик.

— А как же узнать, в какого быка она вселилась?

— Это узнают только святые отцы, дитя... Когда прежний бог Апис, жития которого было двадцать шесть лет, два месяца и один день, отправился в прекрасную страну запада и был погребен в гробничном подземелье, на покое, при великом боге Озирисе, при Анубисе и при богине подземного мира на западе, в вечном доме своем, то нового бога Аписа долго искали по всему Египту и нашли только в низовьях Нила, и тогда верховный жрец торжественно при всем народе ввел его в храм Пта — отца богов.

— Дедушка! — прервала его рассказ девочка. — А когда ты был начальником стад фараона, в твоих стадах ни разу не появлялся бог Апис?

— Нет, дитя, появлялся, — отвечал старик с дрожью в голосе, — последний Апис, который был перед этим, вырос в моих стадах и родился от моей коровы.

Девочка задумалась, усердно работая веслом.

— А что теперь со мной будет, дедушка? — спросила она вдруг. — Он взглянул мне прямо в глаза... Я чуть не крикнула от страха.

— Тебе богов бояться нечего, ты невинное дитя, — сказал старик.

— Так что ж со мною будет, дедушка? — снова спросила девочка.

— Ты теперь стала священная, ты сподобилась великой милости бога, и теперь все, о чем ты попросишь у отца бога Аписа, у великого Пта, все исполнится.

— А когда я вырасту большая, тогда что со мною будет?

— Все для тебя будет достижимо, дитя, если ты не утратишь своей святости.

В это время лодка поравнялась с длинной песчаною отмелью, тянувшеюся вдоль Нила до острова. На отмели виднелись какие-то черные колоды, в которых девочка, обитательница берегов Нила, тотчас узнала страшных владык водных пределов священной реки. Это были два огромных крокодила. Они лежали на отмели, разинув свои чудовищные пасти, а в них среди огромных, словно пилы, зубов безбоязненно возились какие-то маленькие птички: это были знаменитые «трохилосы», о которых говорит Геродот. Маленькие птички эти — друзья крокодилов. Когда нильские чудовища выходят из реки на берег, большей частью на илистые и песчаные отмели, и отдыхают, раскрыв пасти для того, чтобы ветерок освежал их, то трохилосы забираются к ним в пасти и, ничего не боясь, отыскивают и поедают там разных паразитов, вроде пиявок и водяных жучков, которые беспокоят крокодилов. Чудовищам это и нравится, и они щадят своих маленьких благодетелей, тем более что трохилосы криком своим пробуждают спящих крокодилов, предупреждая их об опасности.

— Смотри, дедушка, вон крокодилы спят, — сказала девочка, увидав чудовищ, — вон и птички у них во рту бегают и не боятся.

— Что же им, дитя, бояться? Они для крокодилов то же, что ты для меня, их утеха, — заметил старик.

— А говорят, крокодил тоже бог. Да, дедушка?

— Да, дитя, только у нас ему не ставят храмов. А в Нижнем Египте, в земле Таше, крокодилы имеют свои храмы: в крокодиле обитает божество Сет (Тифон), страшное, разрушительное божество.

— А недавно, вон у того берега, крокодил утащил одну девочку, я сама видела.

— Она, должно быть, близко подошла к берегу?

— Да, дедушка, она водила на водопой осла и стояла у самой воды, а крокодил как ударит ее хвостом — мы и не заметили, как он показался из воды, — девочка упала в воду, он и утащил ее... А мы играли дальше от берега.

Но вот и берег. Тени от гигантских пальм, стоявших недалеко от Нила, ложившиеся утром длинными полосами поперек реки, теперь укоротились так, что казалось, гигантские деревья потеряли способность бросать тень, и только зонтикообразные вершины их несколько оттеняли раскаленную землю у стволов исполинов африканской растительности.

В то время, когда старик и девочка выходили на восточный берег Нила, в западной части Фив, за Нилом, во дворце Рамзеса, в помещении, занимаемом старшим его сыном, принцем Пентауром, происходил таинственный разговор между этим царевичем и его матерью, царицей Тиа.

— Ты слышала, матушка, что он на завтра объявил поход против презренной страны Либу, — сказал Пентаур, сердито сжимая рукоять меча.

Это был египтянин с типичными чертами фараонов: широкий, низкий, как у льва, лоб, подвижность пантеры, стройность и подвижность членов этого животного, широкие ноздри и мясистые, как у негра, губы обнаруживали пламенный темперамент. Пентауру было уже лет под тридцать.

— Да, — тихо отвечала его мать, женщина лет под сорок, смуглая, с продолговатыми, как у сфинкса, глазами, — я слышала, сын мой.

— И знаешь, кого берет с собой в поход?

— Конечно, сын мой, тебя: ты его преемник.

— Нет! Он берет мальчишку Ментухи — начальником конницы и колесниц, а Рамессу — начальником пехоты.

— Да, я знаю — это его любимцы, — тихо, как бы про себя, проговорила Тиа, поправляя на голове золотой обруч с изображением змея «уреус» (царский змей).

— А Меритума торжественно объявил великим жрецом Ра, бога солнца, в Уакоте (Гелиополис), а Хамуса — великим жрецом бога Пта-Сокара (Озирис) в Мемфисе, — продолжал Пентаур еще с большим раздражением.

— А тебя, сын мой, кем он назначает? — чуть слышно спросила царица.

— Меня — бабой! Я, как женщина, должен оставаться дома и принимать подати дуррой и полбой и ссыпать их в магазины. Так не быть же этому! Я велю Бокакамону принимать, а сам уеду охотиться на львов пустыни.

— Не волнуйся, сын мой, — все так же тихо заметила ему Тиа, — за нас с тобой, и в особенности за меня, за женщину, — великая богиня Сохет, мать богов! Мы еще посмотрим, сын мой, что скажет ее супруг, великий Пта, отец богов.

III. НАЧАЛО ЗАГОВОРА

Вечером этого же дня царица Тиа, возвратясь в отделение женских палат фараона, велела приближенной рабыне, сняв с нее некоторые украшения, обычные при торжественных выходах, подать и надеть более легкие ткани.

Накинув на госпожу короткую без рукавов белую тунику из тонкого финикийского виссона, рабыня поправила ей прическу, обвила низкий лоб царицы золотым обручем со змеем-уреусом, надела на шею массивную золотую цепь со священными жуками и на руки драгоценные браслеты, когда в дверях показалась хорошенькая, завитая прядями головка с ясными глазками.

— А! Это ты, Снат? — ласково сказала царица. — Нитокрис?

— Я, мама! Посмотри, что мне подарил великий жрец Аммон-Мерибаст! Какая прелесть!

Это говорила молоденькая, тринадцатилетняя царевна, одна из четырнадцати дочерей Рамзеса III, хорошенькая Нитокрис, названная так в честь царицы Нитокрис, знаменитой красавицы «с розами на ланитах», которая царствовала за 3000 лет до нашей эры и которой приписывают третью из больших пирамид на «поле мертвых» в Мемфисе.

— Золотой кобчик, — сказала Тиа, рассматривая подарок великого жреца с ласковой улыбкой, — это добрый знак, дитя мое.

— Да, мама, от святого отца — все доброе, — серьезно сказала юная дочь фараона.

— Это правда, милая Нитокрис, но кобчик от служителя бога Аммона — это знамение.

— Какое же, милая мама?

— А такое, плутовка, что ты скоро, подобно этому кобчику, улетишь от нас.

— Как, мама? Куда я улечу? — недоумевала хорошенькая Нитокрис.

— А разве ты не знаешь, какой удел предназначен всякой женщине матерью богов, великою Сохет, супругою Пта?

— Не знаю, мама.

— Быть сосудом на жертвеннике божества, дающего жизнь, творящего, созидающего.

Юная дочь фараона все еще не понимала намеков матери.

— Тебе уже тринадцать лет, — продолжала Тиа, — а я тринадцати лет была уже матерью Пентаура.

— Ах, мама! Я не хочу замуж! — вспыхнула Нитокрис. Но в это время вошел евнух царицы и поклонился до земли.

— Ты что, Сагарта? — спросила Тиа.

— Господин женских палат Бокакамон желает лицезреть твою ясность, — отвечал евнух.

— Пусть войдет Бокакамон, — сказала царица. Евнух почтительно удалился.

— Поди и ты к себе, милая Нитокрис, — сказала Тиа дочери, — мне нужно поговорить с Бокакамоном о делах дома нашего.

Нитокрис горячо поцеловала мать.

— А все-таки я не улечу от тебя, как не может улететь этот золотой кобчик, — сказала она, уходя из помещения царицы.

В это время вошел тот, о ком докладывал евнух. Это был мужчина лет шестидесяти, бодрый и прямой, как юноша, с седыми волосами и совсем черными бровями. На смуглой шее его была золотая цепь с тремя рубиновыми пчелами на ней, подарок предместника Рамзеса III, фараона Сетнахта. Бокакамон, так звали вошедшего вельможу, был начальником женских палат фараона, «недремлющим оком» царя, «стражем сада наслаждений» своего повелителя.

— Великая Сохет да хранит вечно красоту твоей ясности, рассыпая розы на твои ланиты, — высокопарно приветствовал свою госпожу Бокакамон, подобострастно кланяясь и прижимая черную и жилистую руку к сердцу.

— Пусть Горус из светового круга вечно освещает твои прекрасные седины, — с тою же напыщенной любезностью отвечала царица. — Сядь на место свое.

Бокакамон сел против Тии и молчал из уважения к своей повелительнице. Жена фараона огляделась кругом.

— Ты знаешь, что объявлен поход против презренной страны Либу (Ливия)? — сказала она тихо.

— Знаю, царица: презренные либу под начальством царей своих, Цамара и Цаутмара, — да поразит бог Монту дерзких своим огненным мечом — наступают на границы Египта, и великий Рамзес — да хранит его великий Ра! — хочет поразить их своим гневом.

— А знаешь, кого он назначил военачальниками?

— Это ведомо, великая царица, на всех стогнах стовратных Фив.

— А Пентаур, мой первенец? Он оскорблен публично!... Я оскорблена в его лице! — со страстным жестом прошептала Тиа. — И ты, мой верный Бокакамон, я знаю, давно носишь скорпиона в своем сердце — ты оскорблен раньше меня: это ведомо же только Фивам, но всему Египту.

Как ни было смугло лицо Бокакамона, но и оно заметно покрылось бледностью.

— Да, скорпион тут, в сердце, — прижал он руку к груди. Тиа придвинула к нему ближе свое легкое из красного дерева седалище, окованное золотом, и положила руку на плечо Бокакамона. От этого прикосновения он весь вздрогнул.

— Ты знаешь, я всегда была к тебе благосклонна, — чуть слышным шепотом начала Тиа, — но моя рука никогда не касалась твоего плеча... Теперь моя рука на тебе... Я знаю твое сердце... Твои глаза давно мне это сказали... Если ты поможешь мне в задуманном мною, тогда... ты положишь руки на мои плечи... Я...

Как ни был выдержан в притворстве этот старый царедворец фараонов, но и он растерялся от такой неожиданности. Он не знал, что делалось в сердце Тии. Он знал одно, что в ней оскорблена царица-мать. Но он не знал, что сердце женщины сложнее и неуловимее сердца мужчины. Если бы он мог теперь проникнуть в сердце Тии, то увидел бы, что вместо скорпиона там сидит и жалит больнее, чем сто скорпионов, хорошенькое личико с типом хеттеянки... Этот скорпион — Изе, ласкательное слово от Изиды, юная дочь хеттеянского царя, семитка с дальнего востока. Эта со светло-каштановыми волосами Изиды, годная во внучки фараону, вытеснила Тиу из его сердца. Он брал теперь ее с собой в поход — эту юную семитку — вместе с тремя старшими дочерьми (что было тогда в обычае) [4], а старшего сына оставлял в Фивах, словно слабую женщину. Она, Тиа, очень хорошо понимала, почему фараон не брал с собой Пентаур а: эта светло-каштановая Изиды чаще и охотнее засматривалась на сына, чем на отца.

Ни о чем этом не догадывался ошеломленный Бокакамон. Он только чувствовал на своем плече горячую руку Тии, и у него закружилась голова... Эта Тиа, которую он видел каждый день, как страж гарема Рамзеса, давно не давала ему спать. Ее красота была источником его тайных страданий... И вдруг эта гордая царица, это божество!... Что она сказала!

Бокакамон выпрямился.

— Великий Аммон свидетель, — сказал он задыхающимся голосом, — если ты повелишь мне низвергнуть колоссальные изображения Аменхотепа, я найду в себе достаточно силы, чтобы опрокинуть их ниц к твоим стопам!

— Нет, милый Бокакамон, — с ласковой улыбкой прошептала жена фараона, — он легче изображений Аменхотепа, и мы с тобой опрокинем его... Ты знаешь Пенхи, бывшего смотрителя стад фараона?

— Знаю, царица.

— А слышал ты, что его внучка, маленькая Хену, сегодня, во время священного шествия бога Аписа, удостоилась получить от него божественный огонь?

— Да, великая царица, мне говорили, что какая-то девочка остановила священное шествие бога, и Апис принял ее просьбу. Так эта девочка — внучка Пенхи?

— Его внучка, Хену... А у Пенхи — ты сам знаешь — тоже скорпион в сердце.

— Я знаю это, царица; я знаю больше, у него крокодил в сердце.

Тиа взяла Бокакамона за руку и посадила на прежнее место.

— Слушай же, мой верный друг, — продолжала она шепотом, — страшная опасность грозит нам, всему Египту и нашим бессмертным богам. Ты знаешь хеттеянку Изиду, для которой отведено особое помещение во дворце?

— Знаю, царица: она, как и все женщины дворца фараона, в моем ведении.

— Знай же и следующее: она, этот светлоликий хамелеон, не верит в наших богов. Она поклоняется «единому солнечному диску» Мне достали ее молитву к этому богу — вот она.

Тиа нажала пружинку в ручке своего сиденья и из потайного ящика достала небольшой клочок папируса.

— Вот ее молитва, — сказала она, развернув папирус. — «Солнечный диск, о ты, живой бог! Нет другого, кроме тебя!» Понимаешь — «нет другого»!

— Понимаю, царица.

— Слушай же: «Лучами своими, — продолжала она читать, — ты делаешь здоровыми глаза, творец всех существ! Восходишь ли ты в восточном световом кругу неба, чтобы излить жизнь всему, что ты сотворил, — людям, четвероногим, птицам и всем родам пресмыкающихся на земле, где они живут, они смотрят на тебя: когда ты заходишь — они все засыпают» [5]. Такова ее вера. Но это бы еще ничего. А вот что ужасно, вот где гибель для Египта и его богов: она, этот светлоликий хамелеон с дальнего востока, склоняет к своей вере того, о ком мы говорим, не называя его по имени... Она — семя того народа, который страшен для Египта: этого народа не мог осилить даже великий Рамзес-Сезострис.

— Да, это потомки Иосифа, который когда-то правил Египтом, и того страшного Моше, который поразил Египет голодом, язвами и песьими мухами, — подтвердил Бокакамон. — Дело это серьезное: в нашей стране могут повториться времена проклятого фараона Хунатена, который променял истинных богов на этот «блеск солнечного диска». Что же мы должны предпринять, чтобы отвести бедствие от страны?

— Надо прибегнуть к помощи богов, — отвечала Тиа. — Спросим великую мать богов — ясноликую Сохет.

— Да будет так, — торжественно проговорил Бокакамон, — я завтра же переговорю с почтенным Ири, великим жрецом богини Сохет: пусть он спросит богиню, и ответ ее я тотчас доложу твоей ясности.

— О, Хунатен, Хунатен! — проговорила как бы про себя Тиа. — Да сохраняют боги Египет от повторения времен Хунатена.

Хунатен был одним из фараонов восемнадцатой династии египетских царей. Он представлял собою необыкновенное явление во всей истории страны фараонов. Сын знаменитого фараона Аменхотепа III, колоссальные статуи которого, известные под именем колоссов Мемнона, до сих пор стоят на развалинах Фив как бы стражами развалин великого города и дивными реликвиями, как и пирамиды, великого народа. Хунатен является чем-то загадочным в истории Египта, каким-то сфинксом-фараоном. Историки думают объяснить это тем, что он родился от матери не египтянки, которая исповедовала веру в «единого бога»: это был единый «световой» бог. Мать Хунатена была не царской крови, даже не была дочерью кого-либо из родственников фараонов. По-видимому, она происходила от того народа, который вместе со своим вождем и пророком Моисеем оставил Египет при таких потрясающих событиях.

В доме этой-то чужеземной матери — говорит историк фараонов — молодой наследник Аменхотепа III, любимый отцом, хотя уже тогда ненавидимый жрецами, как плод незаконного

брака, воспринял учение о едином световом боге и, проникнувшись этим учением в юности, сделался горячим его приверженцем, когда достиг возмужалости. Хунатен, сделавшись владыкой Египта, приказал на всех памятниках фараонов, с помощью резца и молота, истребить, изгладить, выбить совсем имена бога Аммона и его супруги, богини Мут. Жрецы, а за ними и народ открыто восстали против царя-святотатца. Тогда Хунатен бросил столицу праотцев и основал новую резиденцию вдали от Фив и Мемфиса, на восточной стороне Нила, и назвал ее своим именем — «город Хунатен» (то же сделал впоследствии, почти через 4000 лет, далеко от Египта, почти на крайнем севере, другой великий царь, бросив старую столицу с ее старыми жрецами и основав вдали от нее город своего имени). Скульпторы-художники, каменщики, простые рабочие были согнаны со всего Египта, чтобы с величайшей поспешностью строить новый храм, по начертанному самим Хунатеном плану, и огневые жертвенники в честь бога-солнца, храм, совершенно непохожий на древние египетские храмы. Сановники же — «носители опахала» — и гордые жрецы должны были надзирать за ломкою камня в горах и нагрузкою его на суда. Это ли не унижение, это ли не насмешка над вековыми преданиями Египта.

Вот имя этого-то Хунатена и стало страшилищем во все последующие века истории земли фараонов. Его-то и упомянула теперь Тиа, воскликнув: «О, Хунатен, Хунатен!»

IV. У БОГИНИ СОХЕТ

На другой день Рамзес III с отборным войском выступил в поход против царей Либу, как называлась тогда Ливия, — против Цамара и Цаутмара. Похода этого давно ожидали в Фивах, и войска выступили по первому же слову нового фараона.

Рамзес выступил из своей столицы северными воротами, окруженный военачальниками. Рядом с ним на таких же золоченых, как и у отца, колесницах ехали его два сына и три дочери в военных доспехах. С ними же была и светлокаштановая хеттеянка Изиды, облеченная в панцирь и шлем. Ручной лев — Смам-Хефту — выступал у левого колеса колесницы фараона. Дикая музыка труб и барабанов потрясала воздух.

Когда последние звуки боевой музыки смолкли в отдалении, у пилонов храма богини Сохет показалась знакомая нам стройная фигура Бокакамона.

— А! Сама богиня посылает мне навстречу своего служителя, — воскликнул он, увидев показавшегося в воротах храма жреца.

— А! — в свою очередь воскликнул старый тучный служитель богини Сохет. — Страж тайных наслаждений фараона! Добро пожаловать — богиня ждет тебя. О себе пришел просить или о вверенных тебе сокровищах, которые и, не похищая, можно похитить у их владыки? — спросил жрец с лукавой улыбкой.

— Не о себе, а обо всей земле египетской, — отвечал Бокакамон.

Жрец сделал большие глаза. Плутоватое лицо его продолжало улыбаться.

— Обо всей египетской земле! — притворно удивился он. — Разве ты думаешь, что ее, как и твоих красавиц, не похищая, могут похитить презренные цари Цамар и Цаутмар?

— Нет, хуже того... Ее может похитить тот, кто ею владеет, — загадочно отвечал Бокакамон.

— Как! У себя самого похитить!

— Не у самого себя, а у других.

— Великая богиня Сохет, мать богов! — патетически воскликнул жрец. — Вразуми слугу твоего. Я ничего не понимаю: то, чем я владею, я похищаю у себя — не понимаю!

— Похитить у вас, — почти шепотом сказал Бокакамон.

— У нас! У жрецов богини Сохет?

— И у вас, и у богини Сохет, и у всех богов египетских.

— Как это так? — развел руками жрец. — Мы поменялись ролями? Прежде боги нашими устами вещали смертным свою волю, а теперь оракул Аммона и богини Сохет, кажется, переселился в храм тайных наслаждений фараона?

— Да, я пришел к тебе от царицы, — еще тише сказал Бокакамон.

— От которой? — с прежней иронией спросил жрец.

— У нас одна царица, — отвечал Бокакамон.

— И у нас одна, — по-прежнему загадочно говорил жрец, — только, может быть, у вашей не то имя, что у нашей.

— Имя нашей — царица Тиа.

— Гм... Послушай, друг Бокакамон (жрец понизил голос), у меня есть две пары сандалий; одна пара — вот эта, что ты видишь у меня на ногах; другая пара с протертыми подошвами валяется под моим ложем, в пыли, в забвении, и, когда я говорю своему рабу: «Поддай мои сандалии», раб подает мне вот эти... Понимаешь?...

— Понимаю, — начал догадываться Бокакамон.

— Так войдем лучше в мою келью, — сказал жрец, взяв Бокакамона за руку, — а то здесь неудобно говорить о сандалиях...

Они прошли во внутренний двор, где на гранитном пьедестале покоилось сидящее изображение богини Сохет — женщина с головой льва, украшенная солнечным диском. И жрец, и Бокакамон преклонились перед статуей богини.

— Великая мать богов все мне поведала, — таинственно сказал жрец.

Они вошли в келью жреца. Это была обширная комната, в которую свет проникал сквозь отверстия в потолке, затянутые прозрачным, как стекло, сплавом из белого финикийского песка, в виде дани получаемого ежегодно от царей Цаги (часть прибрежной Финикии). На столиках из гранита и на пьедесталах стояли золотые и серебряные изображения богов, сковородки для курений в храме, жертвенные блюда и сistrы — род металлических трещоток, употреблявшихся при богослужениях.

— Я знаю больше, чем «та», которая прислала тебя ко мне, — сказал жрец, усаживая своего гостя. — Великая богиня все мне открыла... Тот, кто хочет похитить у нас Египет, идет оттуда, с той стороны света, где встает Горус. Он забыл благоденствия Египта и его богов. Когда, по исходе из нашей священной земли, он сорок лет скитался в пустыне, оставленный нашими богами, то отчаяние заставило его вспомнить о них, вспомнить о священном Алисе. Но в их стадах Апис не появлялся, — и тогда они сделали себе золотого Алиса и поклонялись ему. А теперь, вероятно, и его забыли, своего бога нашли, какого-то «единого».

Жрец говорил порывисто, страстно. Куда девалась его скептическая улыбка! Старое лицо оживилось, глаза блестели.

— Они называют себя единственным «народом божьим» и забывают, как их поражали фараоны, — продолжал жрец. — А теперь они подслали нам красивого хамелеона, который ослепил очи «того», кого я не хочу называть по имени. И этот хамелеон уже превратился в ихневмона, который хочет пожрать яйца великого нильского крокодила. Но великая Сохет не допустит до этого, не допустит! Это говорит ее устами ее верховный жрец Ири!

Бокакамон был поражен. Он не ожидал такой страстности от ожиревшего, по-видимому, жреца. В последние годы он видел Ири только при богослужениях и торжественных процессиях, когда лица жрецов бывают непроницаемы и бесстрастны, как лица сфинксов.

— Ты знаешь Пенхи, бывшего зрителя стад фараона? — спросил он, когда жрец умолк.

— Я ли не знаю его! — с прежней страстностью воскликнул Ири. — А ты знаешь его внучку, маленькую Хену?

— Слышал о ней... Говорят, что она удостоилась получить из очей великого бога Аписа божественный огонь?

— Да, получила, — отвечал жрец. — Но этого мало.

— Как мало, святой отец! — удивился Бокакамон.

— Это еще не все, что нужно для дела... Что нам нужно?

— Спасти Египет от врага.

— А кто его враг?

— Ты сам знаешь, святой отец, — уклончиво отвечал старый царедворец. — Имени «его» я не назову.

— Имя «его» — нильский крокодил, живущий на суше, я уже назвал «его».

— Так что нам нужно, чтобы... сделать «его» зубы безвредными?

— Нам нужна та девочка — Хену.

— Но она наша: у ее Деда Пенхи и у Бокакамона — одно сердце, и в том сердце сидит скорпион.

— Крокодил! — поправил его жрец.

Бокакамон вздрогнул. Неужели этот страшный служитель Сохет слышал его разговор с царицей Тиа? Или эту тайну сообщила ему сама богиня? Ведь вчера Бокакамон прямо сказал жене фараона, что у Пенхи в сердце крокодил.

Хитрый жрец заметил смущение своего собеседника.

— Не бойся, — сказал он, — крокодил и у меня в сердце... Я сказал не все: божественная девочка вооружена только огнем очей Аписа; но это не все.

— Чего же ей недостает? — спросил Бокакамон.

— Апис дал ей свое творческое семя, но не дал поля, где посеять это семя, чтобы оно дало плод, — загадочно отвечал жрец.

— Кто же может дать это поле?

— Великая богиня Сохет: она, которая родила всех богов, даст это поле, даст сосуд для оплодотворения семени бога Алиса. Ты знаешь, где живет Пенхи? — спросил жрец.

— Знаю, святой отец: на восточном берегу Нила, за верхней группой пальм Аммона.

— Пришли же его ко мне, но только не теперь.

— Когда же, святой отец?

— Когда золотые рога месяца обратятся от запада к востоку.

— Теперь, по ночам, на небе стоит полная темь, — как бы соображая что-то, проговорил Бокакамон. — Дней через семь?

— Он сам это сообразит, — Пенхи человек сведущий в небесных кругах.

— Что же мне теперь сказать пославшей меня? — спросил Бокакамон.

— А то, что я тебе сказал от имени богини Сохет.

— Хвала ее жрецу, великому Ири! — сказал Бокакамон.

— Да, — как бы спохватился жрец, — не забудь, Пенхи должен прийти с божественной, священной девочкой.

V. ПОБЕДА

Прошло семь дней.

В стовратных Фивах снова такое же оживление, какое было в день венчания на царство Рамзеса III. Народ снова толпился у храма Аммона-Горуса. Музыка играла торжественный марш. Из храма показалось несомое жрецами изображение божества. Впереди шел верховный жрец Аммон-Мерибаст, держа в руках сверток папируса.

По знаку жреца музыка стихла. Тогда Аммон-Мерибаст показал народу папирус.

— Смотрите! — громко провозгласил он, — Вот слово великого фараона: он извещает свой народ о дарованной ему богом Монту (бог войны) победе над презренными царями земли Либу.

Радостные клики огласили воздух.

— Слава великому богу Монту! Слава пресветлому Аммону-Горусу!

Верховный жрец снова поднял над головой папирус.

— Слушайте, сыны земли фараонов! — громко сказал он и развернул свиток.

Водворилась тишина. Слышен был только клекот орлов в синем небе.

Верховный жрец читал: «В месяце епифи, в 9-й день, в первый год царствования царя Рамзеса III, выступил фараон с войском в презренную землю Либу, против презренных царей Цамара и Цаутмара. Хорошая охрана над фараоном находилась в стане на высоте к югу от

города Тхамху злого. Вышел фараон из своей палатки, как только вошло солнце, и возложил на себя военный убор отца своего, бога Монту. С ним были и сыновья его, принцы Рамессу и Ментухи, и дочери его, принцессы Нофрура, Ташера и Аида. Вошел на воинские колесницы, они пошли далее вниз и прибыли к югу от города Тхамху злого. И встретились фараону два презренных либу и говорили фараону так: мы братья и принадлежим к старшинам племени своего Либу, которое находится под властью царей Цамара и Цаутмара; мы хотим быть слугами дому фараонову, дабы могли отделиться от царей Цамара и Цаутмара. Теперь сидят они к северу от города Тхамху злого, ибо они боятся фараона. Так говорили два презренных либу; но слова, которые они говорили фараону, была гнусная ложь: презренные цари Цамар и Цаутмар подослали их, чтоб выведать, где находится фараон, дабы не приготовило им войско фараоново засады. Ибо презренные цари Цамар и Цаутмар пришли со всеми царями всех народов, с конями и всадниками, которые и стояли в засаде сзади города Тхамху злого. И фараон не уразумел смысла их ложных слов и поверил им. И пошел фараон далее вниз и пришел в местность, лежащую на северо-запад от Тхамху злого, где и предался отдохновению на золотом ложе. Тогда прибыли соглядатаи фараона и привели с собой двух лазутчиков царей Цамара и Цаутмара. Когда их привели пред фараона, он сказал им: кто вы такие? Они сказали: мы принадлежали царям Цамару и Цаутмару, которые послали нас, чтобы высмотреть, где находится фараон. Говорит к ним фараон: где пребывают презренные цари Цамар и Цаутмар? Ибо я слышал, что они находятся к северу от города Тхамху злого. Они говорят: смотри — презренные цари Цамар и Цаутмар стоят тут, и много народу с ними, который они привели с собою в великом количестве из всех стран, что лежат во владениях презренных царей Цамара и Цаутмара. У них много всадников и коней, которые везут воинские снаряды, и их более чем песку морского. Смотри — они стоят там, в засаде, позади города Тхамху дурного. Тогда приказал фараон призвать пред себя князей своих, чтобы они слышали все слова, которые сказали два лазутчика презренной земли Либу, находившиеся налицо. И говорит к ним фараон: взирайте на мудрость князей дома фараонова! Каждый день они говорили фараону: презренные цари Цамар и Цаутмар бежали от лица фараона, как только услышали, что идет на них фараон с войском. Теперь слушайте, что я узнал сейчас от этих двух лазутчиков. Презренные цари Цамар и Цаутмар прибыли со многими народами, с конями и всадниками, многочисленными, как песок пустыни. Они стоят там, за городом Тхамху злым. Значит — ничего не знали наместники и князья, которые правят землями дома фараонов. Им надлежало сказать: те, которых ты ищешь, пришли. Тогда говорили князья, бывшие пред фараоном, так: велика вина, которую совершили наместники и князья дома фараонова, что не распорядились выведать, где находились презренные цари Цамар и Цаутмар, чтобы каждый день докладывать о том фараону. И когда они говорили это, показались несметные полчища презренных царей Цамара и Цаутмара с конями и всадниками. И когда увидел их фараон, то пришел в великую ярость и сделался подобен отцу своему, богу Монту. Он возложил на себя воинский убор, все свои воинские доспехи и явился, как бог Ваал. И вступил он на колесницу свою, и ускорил быстрый бег свой рядом со львом своим Смам-Хефту, который радостно ревел, потрясая гривой. И вместе с фараоном ринулись на врагов сыны его и дочери его на своих колесницах, в воинских доспехах своих. Фараон бросился в середину неприятельских полчищ и поражал и убивал их. Ибо радость его есть принять битву и наслаждение его — броситься в нее. Удовольствие его сердцу доставляют только потоки крови, когда он срубает головы неприятелям. Минута битвы с мужами любезнее ему, чем день наслаждения с женщинами. Он разом убивал их и никого не щадил между ними. Все они плавали в крови своей. А в то время презренные цари Цамар и Цаутмар стояли полные страха; мужество покинуло их. Они бежали скорым бегством и оставили свои сандалии, свои луки, свои колчаны впопыхах позади себя и все, что при них было. Они, в теле которых не было трусости, и тело которых оживлялось мужественным духом, они бежали, как женщины. Тогда взяли воины фараона все, что оставили презренные цари Цамар и Цаутмар, — их деньги, их серебро, их золото, их железную утварь, уборы их жен, их седалища, их луки, их оружие и все, что было у них. Все это принесено было к палатке фараона вместе с пленными. Многое множество погибло презренных либу и их союзников».

При последнем слове верховный жрец поднял глаза к небу. Из этой необычайно ярко-синей бездны глядел на него сам Аммон-Ра — знойное африканское солнце. Оно обливало своим невыносимо жгучим светом нестройную толпу, собравшуюся у храма верховного бога, гигантские гранитные колонны других храмов, целый лес колонн, целые аллеи молчаливых сфинксов, стройные иглы обелисков, исполинские статуи фараонов, группы таких же исполинских пальм, тихие мутные воды Нила, а там, дальше, — ливийские скалы с гробницами прежних фараонов... Величавая картина, как величаво все прошлое Египта — этой заколдованной страны! Аммон-Мерибаст, видимо, проникся той же мыслью. Со священным волнением он глядел и на этот лес колонн, и на аллеи задумчивых полногрудых женщин-львов, и на возносившиеся к небу, к самому Аммону-Ра, обелиски... Папирус в руке его дрожал.

Народ молча ждал, что будет дальше. Все то ужасное и отвратительное, что было ему прочитано верховным жрецом, — эти потоки крови, отрезанные руки — не смущали его; напротив — радовали его национальную гордость... Ведь это было еще тогда, когда не было даже Рима, когда еще не влачили по земле труп Патрокла, когда жива была Гекуба, когда еще Гектор не прощался с Андромахой и Троя стояла во всей своей красе... Чего же было тогда требовать от народа!

Аммон-Мерибаст видел это по лицам слушателей: они ждали еще чего-то. И он не обманул их ожидания. Он снова перенес свой взор на папирус.

«А это трофеи победы великого фараона над презренною страню Либу и ее презренными союзниками, — продолжал читать верховный жрец, — живых пленных — 9364. Жен презренных царей Цамара и Цаутмара, которых они привели с собой, живых женщин — 12. Юношей — 152. Мальчиков — 131. Жен воинов — 342. Девиц — 65. Девочек — 151. Другая добыча: оружия, находившегося в руках или отнятого у пленных, — медных мечей — 9111. Других мечей и кинжалов — 120 214. Парных колесниц, возивших презренных царей Цамара и Цаутмара, их детей и братьев — 113. Серебряных кружек для питья, мечей, медной брони, кинжалов, колчанов, луков, копий и другой утвари — 3173 штуки. Все это отдано в награду воинам фараона. Затем огонь был пущен на лагерь презренных царей, на все их кожаные шатры и на все их узлы (вьюки?)».

Жрец кончил и, обратясь к изображению божества, поднял руки.

— Слава светоносному Аммону-Горусу! — воскликнул он. — Слава великому богу Монту, даровавшему победу своему сыну, фараону!

— Слава Аммону-Горусу! — подхватил народ. — Слава Монту!

Казалось, заговорили колоннады храмов, гигантские пилоны, гордые обелиски. Только сфинксы глядели молчаливо и загадочно своими гранитными очами.

Поддерживаемое жрецами изображение божества скрылось за колоннами храма.

— Где же богиня Сохет? — спросила знакомая нам «священная» девочка Хену своего деда, по-видимому не разлучавшегося со своей маленькой внучкой.

— Ее здесь нет, дитя, она в своем храме, — отвечал старик.

— Когда же мы к ней пойдем?

— Когда Горус скроется за горами Либу, в пустыне, а за ним будут наблюдать с неба два рога нарождающейся луны.

— А кто эта луна, дедушка? Божество?

— Божество, дитя.

— Ах, дедушка! Сколько он убил людей!

— Кто убил, дитя? — спросил старик, видимо занятый своими мыслями.

— Да фараон, дедушка, что вот читал жрец.

— Много, дитя, всего 12 535 человек [6].

— А я сегодня ночью, дедушка, слышала плач крокодила. О чем он плачет? — продолжала болтать невинная девочка, не подозревая в себе «божественности». Кого ему жаль?

— Он не плачет, дитя, он обманывает.

— Кого, дедушка?

— Доверчивых людей и животных, он заманивает их к реке: крокодиловы слезы опасны.

По Нилу скользили лодки то к восточному берегу, то обратно. Вдали виднелись паруса, чуть-чуть надуваемые северным ветром: то шли суда от Мемфиса, от Цоан-Таниса, любимой столицы Рамзеса-Сезостриса.

На набережной кипело оживление. Пленные из страны Либу и Куш (Нубия), черные, как их безлунные ночи, выгружали на берег глыбы гранита и извести. Несмотря на ужасающий зной, они пели заунывные песенки своей родины.

Пенхи на набережной зашел в лавку, где продавались восковые свечи и воск. Там он купил несколько «мна» (фунт?) воску.

— На что тебе воск, дедушка? — спросила Хену.

— Узнаешь после, дитя, — отвечал старик. — Ты же мне и помогать будешь в работе.

— Ах, как я рада! — болтала девочка. — Что же мы будем делать?

— Куколки... Только ты об этих куколках никому не говори, дитя, понимаешь?

— Понимаю, дедушка, — отвечала Хену, гордая сознанием, что ей доверят какую-то тайну.

VI. ВОСК ОТ СВЕЧИ БОГИНИ

Наступил, наконец, ожидаемый вечер. Солнце, безжалостно накалявшее в течение дня и гранитные колонны храмов, и головы молчаливых сфинксов, и глиняные хижинки бедняков, нижним краем своего огненного диска коснулось обожженного темени высшей точки Ливийского хребта, когда в воздухе пронесся резкий крик орла, спешившего в родные горы, и вывел из задумчивости старого Пенхи.

— Пора, дитя мое, — сказал он внучке. — Скоро на небе покажется то, чего мы ждем.

Они пошли по направлению к гигантским статуям Аменхотепа, которые отбросили от себя еще более гигантские тени до самого Нила и далее. Скоро солнце выбросило из-за гор последний багровый свет в виде рассеянного снопа лучей, и над Фивами легла вечерняя мгла. В то же мгновение на небе, над Ливийскими горами, блеснул золотой серп

нарождающегося месяца. Он так отчетливо вырезался над бледнеющим закатом, что, казалось, висел в воздухе над самыми горами пустынной Ливии. В воздухе зареяли летучие мыши.

Улицы и площади города, за несколько минут столь шумные, быстро начали пустеть, потому что около тропиков ночь наступала почти моментально, и движение по неосвещенному городу являлось более чем неудобным.

Но вот и пилоны храма богини Сохет.

— Где начало вечности? — спросил чей-то голос наших спутников.

— Там, где ее конец, — отвечал Пенхи.

Это был условленный лозунг. От одного из пилонов отделилась темная фигура.

— Следуйте за мной — богиня ждет, — сказал тот, кто стоял у пилон.

— Верховный жрец богини, святой отец Ири, — пробормотал Пенхи в смущении.

— Я его младший сын и посланец.

Они все трое вошли во внутренний двор храма. Хену испуганно схватила старика за руку.

— Богиня глядит, — прошептала она.

Действительно, из мрака тропической ночи выступала, отливая фосфорическим синеватым светом, львиная голова странного божества. Голова в самом деле глядела живыми львиными глазами. Пенхи невольно упал на колени: он еще никогда не видел ночью богиню Сохет. Пенхи суеверно молился страшному божеству. Хену стояла с ним рядом и дрожала.

— Божество милостиво: только чистому существу оно открывает свой светлый лик, — сказал тот, который называл себя младшим сыном верховного жреца Ири. — Встань, непорочное дитя, иди за мною.

— Я с дедушкой, — робко проговорила Хену.

— Конечно, с дедушкой. Идите, верховный отец наш ждет Пенхи и его внуку Хену.

Все трое пошли направо, где находилось помещение верховного жреца. Оно было ярко освещено массивными восковыми свечами в высоких канделябрах. На небольшом бронзовом треножнике курилось легкое благовоние.

Верховный жрец встретил пришедших ласково.

— Какое прелестное дитя! — сказал он, подходя к Хену. — Как тебя зовут, маленькая красавица? — ласково спросил он, глядя курчавую головку девочки.

— Хену, — отвечала она, нисколько не сробев: старый толстяк показался ей таким добродушным дедушкой.

— А сколько тебе лет?

— Двенадцатый, а потом пойдет тринадцатый.

— Ого, как торопится расти, — рассмеялся жрец, — это пока, до семнадцати лет, а там начнет расти назад и убавлять свои года. А есть у тебя мать?

— Нет, мама умерла: она там, в городе мертвых, — печально отвечала Хену.

— А отец? — Девочка молчала; за нее ответил дед.

— Он давно в плену, святой отец, его взяли финикияне в морской битве при устьях Нила, у Просописа, и продали в рабство в Троиду.

— В Троиду! О, далеко это, далеко, на дальнем севере, — проговорил старый жрец. — Я знаю их город Трою; я был там давно с поручениями от великого фараона Сетнахта, и царь Приам принял меня милостиво. Я там долго пробыл и старика Анхиза знал, и Гекубу... А теперь, слышно, Трою разрушили кекропиды из-за какой-то женщины. О, женщины, женщины! [7]

Старик разболтался было, но скоро опомнился: ведь он верховный жрец, и притом богини-женщины...

— Бедный Приам! — сказал он как бы про себя. — Сын мой, — обратился он к младшему жрецу, приведшему к нему Пенхи с внучкой, — поди, приготовь в святилище богини.

Младший жрец вышел. Ири также удалился в соседнюю комнату, чтобы надеть на себя священную цепь и мантию.

Хену, оставшись одна с дедом, с жадным любопытством и боязнью осматривала помещение верховного жреца. Изображения божеств внушали ей суеверный страх, зато опахала из страусовых перьев, украшенные золотом и драгоценными камнями, приводили ее в восторг.

Скоро появился и Ири в полном облачении. В руке он держал блестящий бронзовый систр, который при сотрясении издавал музыкальный звук, похожий на треск цикад.

— Дитя мое, — обратился Ири к Хену, смотревшей на него большими изумленными глазами, — ты смотрела в священные очи бога Аписа?

Девочка не знала, что сказать, боясь ответить невпопад. Она посмотрела на деда.

— Отвечай же, дитя, — сказал старик. — Тогда, во время священного шествия бога Аписа ты упала перед ним на колени и видела его глаза?

— Видела.

— А что чувствовала ты, когда бог взглянул на тебя?

— Я испугалась.

— Это священный трепет — в нее вошла божественная сила, — пояснил верховный жрец. — А теперь идем. Ири взял длинный посох с золотой головкой кобчика наверху, и они вышли на двор. В темноте снова выступила голова льва, освещенная как бы изнутри фосфорическим огнем.

— Богиня благосклонно открывает тебе свое божественное лицо, — сказал жрец Хену, снова оробевшей.

Преклонив колена перед статуей матери богов, они прошли дальше и вошли в самое святилище. И там было изображение Сохет рядом с изображением Пта. От жертвенника синеватой струйкой подымался дым курения, толстые, как колонны, восковые свечи в огромных подсвечниках освещали жилище богини.

Верховный жрец, преклонившись перед божеством и опираясь на посох, правой рукой сделал

движение в воздухе, потрясая систром. Раздались тихие музыкальные звуки, словно бы они исходили из огромной бронзовой головы матери богов. Голова невнятно, глухо проговорила несколько слов, которые жрец повторял за нею:

— Пта, Сохет, Монту, Озирис, Горус, Апис...

За жертвенником послышался странный звук, точно шипение змеи. И действительно, из-за жертвенника выползла большая серая змея. Увидев жреца, она свилась спиралью, и только плоская голова ее дрожала и вытягивалась, выпуская черное, раздвоенное жало-язык.

Жрец стукнул посохом, и змея поползла к Ири, к его посоху. Он еще стукнул, и пресмыкающееся, коснувшись головой посоха, обвилось вокруг него и стало спиралью подниматься вверх, к руке жреца.

— Священный уреус благоволит принять жертву из рук чистого существа, — проговорил Ири, потрясая систром.

Тогда из-за завесы, скрывавшей дверь позади жертвенника, вышел младший жрец. Он держал в руке какую-то маленькую птичку.

— Хену, чистое дитя, возьми жертву, — сказал Ири, обращаясь к девочке, которая, казалось, застыла в изумлении и ужасе.

Младший жрец передал ей птичку, которая даже не билась в руках. Змея, держась спиралью на посохе, повернула голову к птичке. Глаза пресмыкающегося сверкали.

— Дитя, отдай жертву священному уреусу, — сказал Ири.

Девочка не двигалась, она не спускала глаз со змеи.

— Пенхи, сын мой, подведи девочку, — сказал жрец старику.

Тот повиновался и подвел девочку к посоху, к самой змее. Змея потянулась к птичке.

— Пусть отдаст, — сказал жрец.

Рука Хену автоматически потянулась вперед, и змея моментально схватила птичку.

— О, дедушка! Она глотает птичку! — вся дрожа, проговорила девочка, цепляясь за старика.

— Жертва принята, — торжественно произнес верховный жрец, вставая.

Змея быстро соскользнула с посоха и уползла за жертвенник. Тогда Ири подошел к Хену и, желая ободрить ее, стал гладить и целовать ее голову.

— Испугалась, девочка? Ничего, ничего, крошка, теперь все кончилось, — говорил он нежно.

Услышав, что все страшное кончилось, Хену несколько ободрилась.

— Теперь птичка умерла? — спросила она.

— Нет, дитя, она переселилась в божество. И ты некогда была такою же птичкой, и вот теперь боги превратили тебя в хорошенькую девочку.

— Так и меня змея съела? — спросила Хену, совсем ободрившаяся. — Кто ж меня ей отдал?

— Такая же, как ты, чистая девочка, — лукаво улыбнулся жрец. — А теперь подойди вот к этой свече, что пониже.

Хену подошла. Свеча, толстая, как ствол молоденькой пальмы, горела выше головы Хену.

— Можешь ее задуть? — спросил Ири, положив руку на плечо девочки.

— Могу, — отвечала последняя.

— Так да погаснет свеча жизни тех, чьи имена мы носим в сердце, — торжественно сказал верховный жрец. — Дуй же, дуй сильнеей.

У Хену были сильные, молодые легкие. Она собралась с духом, дунула, и массивное пламя свечи моментально погасло; одна светильня зацадила.

— Да свершится воля божества! — торжественно проговорил жрец. — Как чадит эта светильня, так пусть чадит постыдная память тех, чьи имена мы носим в сердце. Сын мой, подай священный серп, — обратился он к младшему жрецу.

Тот взял с жертвенника золотой серп и подал Ири. Святой отец, взяв серп, отпилил верхнюю часть загашенной свечи, длиной вершка в три, и подал Пенхи.

— Возьми этот священный воск, — сказал он, — и сделай из него то, что поведено тебе свыше: Пта, Сохет, Монту, Озириса, Горуса и Аписа. Ты слышал повеление божества?

— Слышал, святой отец, — отвечал Пенхи.

— Ты их изображения знаешь?

— Знаю, святой отец.

— Хорошо. А из простого воску сделай изображения тех, чьи имена мы носим в сердце.

— Будет все исполнено, святой отец.

— Помни, что она, — жрец указал на Хену, — должна во всем помогать тебе: пусть она месит воск своими руками, согревает его своим дыханием, но только не тот, не простой воск, а этот, священный. И делай так, чтобы Аммон-Ра не видел твоей работы, чтоб солнечный луч не досягал туда, где будешь формовать фигуры, и чтоб кроме Хену никто этого не видел — никто! Это величайшая тайна божества.

Ири взял потом Хену за руку и подвел к южным дверям святилища, где в большой глиняной кадке она увидела лотос с распутившимся цветком.

— Сорви этот цветок священного лотоса и укрась им свою голову, — сказал жрец.

Девочка не заставила долго ждать: она искусно отделила цветок от стебля и ловкими пальчиками, на что девочки большие мастерицы, вдела пышный цветок в свои черные густые волосы.

— Идет ко мне? — весело спросила она.

— Очень идет, — улыбнулся старый жрец.

Молодой месяц давно зашел за темные вершины Ливийского хребта, когда Пенхи и Хену вышли из ворот храма Сохет. На небе высыпали мириады звезд, которых яркость и красота особенно поразительны в тропических странах. В воздухе веяло прохладой. Во мраке ночи огромные колонны храмов и аллеи сфинксов казались чем-то фантастическим. Редко кто попадался на опустевших улицах и площадях сонного города.

Проходя мимо колоссальных статуй Аменхотепа, Хену боязливо жалась к деду.

— Они, кажется, дышат, — шепотом проговорила девочка.

— Я не слышу, дитя, — отвечал Пенхи.

— А как же, дедушка, говорят, что утром, при восходе солнца, они тихо плачут.

— Да, я сам слышал, — подтвердил старик.

— О чем же плачут они?

— Кто это может знать, дитя! Может быть, они не плачут, а жалобно приветствуют бога Горуса, просят, чтоб он возвратил им жизнь.

Когда наши путники переезжали через Нил, им послышался в тростниках тихий плач, словно детский.

— Опять плачет крокодил, слышишь, дедушка?

Плач умолк, и только слышен был шорох в тростниках Нила.

VII. ТРОЯНСКИЙ ПЛЕННИК

Утро следующего дня застает нас в Нижнем Египте, у Мемфиса, на поле пирамид.

От Мемфиса, по направлению к большим пирамидам, шли два путника: один, старик, в обыкновенной одежде египтянина из жреческой касты, другой своим фригийским колпаком и некоторыми особенностями в одеянии скорее напоминал северного жителя из Фригии или Трои. Последнему было лет под пятьдесят или несколько меньше.

— Так ты говоришь, около десяти лет не был в Египте? — спросил старший путник.

— Да, почти девять, — отвечал младший.

— Где же это ты мыкался?

— В неволе был, добрый человек, — У презренных шазу (кочующие бедуины) или в Наане?

— Нет, я все время провел в неволе в Трое.

— В Трое! Слышал я об этой стране много любопытного, — богатый город Троя!

— Да, был когда-то; а теперь от Трои остались только камни да груды пепла. Жаль мне этого города; я в нем помирился было и с неволей.

— Кто же его разрушил? — спросил заинтересованный старик.

— Данаиды, которых называют также и кекропидами, и эллинами. И все вышло из-за пустяка — из-за женщины. Видишь ли, сын троянского царя, по имени Парис, сманил у одного эллинского царя жену, по имени Елена, женщину большой красоты. Эллина и вступились за честь своего царя, приплыли к Трое на кораблях и осадили город. Почти все время, что я пробыл в Трое, длилась осада. И небольшой, правду сказать, был город, не то, что наши Фивы или Мемфис, — маленький городок, а много выплакал слез! Я жил при дворе самого царя Приама, так всего довелось видеть и слышать.

— Боги, надо полагать, отвратили лицо свое от несчастного города, — заметил старик.

— Видимое дело, что боги покинули их, — подтвердил его собеседник. — Да у них и боги свои, не наши всемогущие боги: вместо Аммон-Ра и Пта — у них Зевс и Гефест, вместо бога Монту — у них Арес.

— А великая Сохет, мать богов? — спросил старик.

— Юнона у них, Вахх еще, Нептун, Гелиос, Афродита, Хронос — много богов...

— Много богов, да помощи мало, — глубокомысленно заметил старик, — наши боги не то, что их, — Египет победить некому. Разве можно разрушить такие твердыни! — Он указал на пирамиды, которые высились у них перед глазами какими-то грозными гигантами. — Тысячи лет стоят, а простоят еще миллионы.

В голосе старого египтянина звучало гордое сознание своего величия — величия народа, его богов, его титанических построений.

— Есть что-нибудь подобное этому в мире? — Он указал на исполинскую голову «великого сфинкса», которая вместе с плечами и грудью, шириной в несколько сажень, выступала из засыпавших ее песков пустыни. — А наши храмы, наши сфинксы! Пока земля стоит на своих основах, пока наши боги будут бодрствовать за нас — будут и они стоять на своих местах в великой земле фараонов! Они перестоят весь мир!

Бедный энтузиаст не подозревал, что пройдут тысячелетия и весь мир, именно весь мир растащит, расхитит его гордость — его памятники, гробы, мумии царей и жрецов, всех богов Египта, его сфинксов, его обелиски, колонны, свитки папирусов, священные сестры, жертвенники, доски с иероглифами, с гимнами, вырезанными на стенах храмов, — все это весь мир растащит, безбожно разграбит, не оставит камня на камне — и поставит у себя на площадях (obelisks), в музеях, в кабинетах, и в каждой столице мира, в каждом более или менее значительном городе будут открыты «египетские музеи», где праздные бродяги с гидами и каталогами в руках будут равнодушно проходить мимо этих священных реликвий удивительной страны, мимо этих немых свидетелей глубочайшей древности человечества, свидетелей его гордой, померкшей славы, его радостей, страданий, слез... А что останется нерасхищенным, то засыпят пески пустыни... И уцелеют, как укор богам, на которых возлагалось гордыми фараонами столько надежд, как укор человечеству, ничего не щадящему, — уцелеют одни пирамиды, да и то памятники не египетского народа, не его гения, а памятники народа еврейского, вечного, несокрушимого народа, как несокрушимы и вечны пирамиды [8].

— Да, наши боги не то, что жалкие боги какой-нибудь Трои или Финикии! — продолжал энтузиаст. — А с нашими пирамидами своею древностью может поспорить разве одна земля да это бесконечное голубое небо!

Он поднял к нему руки.

— О светоносный Горус! О Аммон-Ра, отец богов!

Старше упал на колени и восторженно молился. Это успокоило его волнение.

— Так нет больше Трои? — спросил он, продолжая путь.

— Нет... Одни груды камней да пепел, разносимый ветром... Бедная Кассандра, бедная Гекуба! Как тени, они проходят предо мною... Это прекрасное тело Гектора, голова которого колотится о камни... Бедная Андромаха... Я все это, кажется, вижу теперь...

— А как же ты уцелел? — спросил старик.

— Я ушел вместе с сыном царя дарданов Анхиза, с Энеем... Ушло от общей гибели несколько сот троянцев, и море спасло их. Я был вместе с ними. Долго носились мы по морю, пока боги не сжалились над нами: я увидел берега родной Африки.

— К Египту привели вас наши боги? — спросил снова старик.

— Нет, далеко туда, на запад, где великий Ра опускается на покой. Мы пристали к чужому городу — название его Карфаго. Там царствовала тогда добрая царица — Дидона... Бедная!

— А что? Чем бедная?

— Ее уж нет на свете.

— Умерла? Отошла на вечный покой?

— Нет, хуже того: она сожгла себя на костре.

— Живою сожгла себя?

— Живою — и такая еще молодая, прекрасная.

— Это оскорбление божества! — воскликнул старик.-

Где же теперь ее душа?

— Она не могла пережить своего несчастья: она полюбила Энея, она отдавала ему свое царство, а он покинул ее, хотя и любил.

— Зачем же покинул, когда ему, бездомному скитальцу, отдавали целое царство?

— Он не мог послушаться своих богов.

— Своих богов? — со старческой запальчивостью воскликнул египтянин. — А что сделали его боги с его Троей? Несчастный, неразумный человек — верит своим богам!

— Да, он продолжает верить. Боги внушили ему, что он должен основать там где-то, далеко на западе, сильное царство, которое покорит весь мир.

— Как весь мир! — вскипел снова старик. — А Египет, а наши боги?

— И Египет будто бы покорит и отомстит эллинам, которые разрушили его Троию.

— Это кощунство! Это наглая ложь! Его боги — презренные лгуны! Они такие же, как боги необрезанных, презренных сынов Либу. И ты ему не сказал прямо в глаза, что он несчастный безумец?

— Нет, я только тайно ушел от него, когда он отплывал в Уат-Ур («Великие зеленые воды», как называли египтяне Средиземное море).

— И хорошо сделал, сын мой... Безумец! Он смеет надеяться, что когда-нибудь Египет будет побежден кем-либо! Никогда! Пока стоят вот эти пирамиды на земле, а по небу ходит вот этот великий Аммон-Ра и светоносный Горус — царство фараонов не исчезнет, как исчезла его Троя.

Пирамида Хуфу или Хеопса оставалась уже несколько вправо, блестя на солнце своей гладкой гранитной облицовкой. Против них уже высилась пирамида Хеопса или Хефрена, а ближе к ним — чудовищная голова сфинкса Хормеху («Горус в сиянии»). Путники шли прямо на сфинкса. Скоро открылись его полусасыпанные песком лапы и грудь с прислоненной к ней

гранитной доской, тоже полу занесенной песками пустыни.

— Безжалостная пустыня! Она даже великого Хормаху не щадит, засыпает своими песками, — сказал старик, подходя к сфинксу и падая перед ним на колени. — И доску засыпает со священной надписью фараона Тутмеса IV.

И младший путник упал на колени.

— О великий, жизнь дарующий Хормаху! — сказал он с благоговением. — Тебе я молился в плену, в далекой Трое, и ты услышал мою молитву, сподобил меня снова увидеть родную страну и питающий ее многоводный Нил. Я прежде никогда не видел твоего светоносного образа, а теперь сподобился лицезреть тебя, великий Хормаху!

Старик тоже молился.

— А что это за надпись? — спросил тот, что был в плену у троянцев, когда старик кончил свою молитву. — Тут упоминается имя фараона Тутмеса IV.

— Да, это его начертание. Вот уже два с половиною века, как сделано это начертание, а оно совсем не выветрилось, только песок засыпает его.

«Однажды, — читал младший путник, — занимался царь метанием копий, для своего удовольствия, на земле мемфитского округа, по направлению сего округа к северу и югу, стреляя в цель медными стрелами и охотясь за львами в долине газелей. Поехал он туда на своей двухконной колеснице, и кони его были быстрее ветра. С ним было двое, сопровождавших его. Ни один человек не знал их. Настал час, когда он давал отдых своим слугам. Он сам воспользовался этим временем, чтобы принести на высоте богу Хормаху, близ храма Сокара, в „городе мертвых“ (Некрополис), и богине Ранну жертвоприношение, состоящее из цветочных семян, и чтобы помолиться великой матери Изиде, госпоже северной стены и госпоже южной стены, и богине Сохет Ксоитской, и богу Сету. Ибо великое чарованье лежит на этой местности от начала времен даже до местности владетелей Вавилона, вдоль по священной дороге богов до западного светового круга Он-Гелиополиса, ибо образ сфинкса есть изображение Хепра, весьма великого бога, живущего на этом месте, величайшего из всех духов, существа более всех почитаемого, которое покоится на этой местности. К нему жители Мемфиса и всех городов, стоящих на местности, ему принадлежащей, воздымают руки, чтобы молиться пред лицом его и приносить богатые жертвенные дары. В один из этих дней случилось, что сон одолел царским сыном Тутмесом...»

— Значит, он тогда еще был только наследником, — заметил старик.

— Вероятно.

— Ну, читай дальше, а я это начертание знаю наизусть: я жрец бога Хормаху.

Младший путник продолжал читать: «...когда он, после своего странствования, прибыл во время полудня и лег, чтобы отдохнуть в тени великого бога. В самую ту минуту, когда солнце стояло в высшей точке своей, он увидел сон, и ему представилось, как будто этот прекрасный бог говорил собственными устами своими, как говорит отец к сыну своему, и сказал он: «Взгляни на меня, смотри на меня, сын мой, Тутмес. Я есть отец твой Хормаху, Хепра, Ра, Тум [9]. Тебе дано будет египетское царство, и ты будешь носить белый венец и красный венец на седалище бога земли Себа, младшего из богов. Твой будет мир в длине своей и в ширине своей, везде, где освещает его блестящий глаз господина всего мира. Полнота и богатство будут у тебя — лучшее земли сей и богатые дани всех народов. Дадутся тебе долгие годы для времени жизни твоей. Лицо мое милостиво к тебе, и сердце мое принадлежит тебе: дам я тебе наилучшее...»

Старый жрец не вытерпел.

— Вот какие наши боги! — воскликнул он. — Они не лгут, это не боги Трои. О великий, прекрасный бог Хормаху! А читай дальше, что бог сказал Тутмесу.

Собеседник его читал: «Засыпан я песком страны, на которой я пребываю. Обещай мне, что ты сделаешь то, что я желаю в моем сердце, тогда я познаю, что ты сын мой, помощник мой. Подойди, да будем мы с тобою в единении». После сего проснулся Тутмес и повторил все эти слова и уразумел смысл слов сего бога и оставил их в сердце, говоря сам себе: «Я вижу, как жители города чествуют храм этого бога жертвоприношениями, не думая освободить от песка произведение царя Хафра (Хефрена), то изображение, которое сделано было богу Тум-Хормаху» [10]. Чтец остановился — дальше доска была засыпана песком.

— Вот! — сказал жрец. — Пока я был в Фивах, опять занесло, и никто не позаботился откопать заносимое песком божество. Я нарочно затем и пришел сюда теперь, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Да, надо велеть снова откопать.

Путники уселись в тени сфинкса. Перед ними, к востоку, высились башни и храмы Мемфиса. Кое-где виднелись группы пальм, между стволов которых просвечивали воды Нила. Вправо и влево — большие и малые пирамиды, пирамиды жен и дочерей фараонов. За ними — бесчисленные ряды гробниц, постоянно заносимых западными песчаными волнами.

— Куда же ты теперь, сын мой? — спросил жрец бога Хормаху. — В Фивы?

— В Фивы, святой отец.

— Что ж, есть там у тебя кто-нибудь? Родные?

— Были и родные, была и семья — отец, жена и дочка по третьему году, да не знаю — живы ли.

VIII. «ПРЕЖДЕ ОСЛЕПИТЬ ЛЬВА...»

В это время из-за пирамиды Хефрена показались две парные колесницы. Они, по-видимому, возвращались из пустыни, из Долины Газелей. На каждой колеснице было по два воина. Они прямо направлялись к великому сфинксу. По одежде можно было заметить, что там были и не воины.

— Это, должно быть, охотники, — сказал, заметив их, старый жрец. — Там много газелей, и эти воины, по примеру покойного царя Тутмеса, — да веселится он вечно в жилище отца своего, бога Хормаху! — вероятно, охотились на этих невинных животных.

Колесницы все приближались. Жрец оттенил рукою глаза, чтобы всмотреться в лица незнакомцев.

— Да это, если глаза меня не обманывают, мои приятели, ближайšie слуги дома царицы Пилока и ливиец Инини, — сказал жрец.

— Как! Пилока и Инини, уроженец Либу? — обрадовался путник, который был в рабстве у царя троянского Приама. — Я их когда-то хорошо знал.

Колесницы приблизились совсем.

— А! Да это святой отец Имери в гостях у своего бога, — сказал один из подъехавших, что был не в одеянии воина, а в остроконечной шапке с длинными воскрилиями и без панциря.

Это был чернокожий ливиец Инини. Тип другого, не воина тоже, был чисто египетский. Воины в шишаках и кожаных панцирях с медными круглыми бляхами тоже изобличали египтян. Остановив лошадей, все четверо сошли с колесниц. Воины остались при конях, а Пилока и Инини подошли к жрецу и его спутнику.

— Вот счастливая встреча, — сказал Пилока, худой и загорелый египтянин лет тридцати пяти. — Недаром нам бог Хормаху помогал и на охоте.

— А что? — спросил жрец.

— Да мы убили отличного, громадного льва и несколько газелей, — отвечал Пилока, пристально, хотя как будто украдкой, всматриваясь в незнакомца во фригийском колпаке.

— Ты не узнаешь меня, Пилока, и ты, Инини? — сказал этот последний.

— Адирома! — воскликнули оба в один голос. — Откуда ты? Из царства мертвых! О боги!

— Да, — улыбнулся тот, кого называли Адирома, — истинно из царства мертвых.

— Но ведь говорили, что ты утонул в битве при Просописе, вместе с кораблем и всеми воинами, — сказал Пилока.

— Да, сначала погрузился в море, а потом вынырнул, совсем обессиленный; меня подхватили финикияне на свой корабль, — отвечал Адирома.

— А вот я так не узнал тебя, — обратился жрец к Адироме, — стар становлюсь.

— А я сам боялся признаться тебе, святой отец, хотя и узнал сразу, — сказал Адирома, — думал, что я так изменился на чужбине и в рабстве, что меня и родные мои не признают за своего.

Начались расспросы: где он был, что это за Троя такая, далеко ли за великим морем Уат-Ур, какова была его жизнь в рабстве, похожи ли тамошние цари на египетских, какие там боги и храмы, как пала Троя, кто были ее героями и как спасся он сам? На все это ответил им Адирома, хотя сам не успел, да и боялся задать им вопрос — единственный вопрос, который всего труднее сходил с уст. Но он подошел к нему окольным путем.

— А что в Фивах? — спросил он наконец.

— В Фивах, сын мой, новый фараон, Рамзес III, — отвечал жрец.

— Я это слышал в Мемфисе, — сказал Адирома. — А что там мои, жена, дочь, отец? — спросил он нерешительно.

— Отец твой, благодарение богам, здравствует: бодрый старик; а из дочки твоей вышла славная вострушка, любимица богов.

— О, великий Хормаху! — с благодарной мольбой поднял Адирома глаза на сфинкса. — А жена?

— Мудрые боги взяли ее в свои обители, их на то воля была, — отвечал жрец, поднимая глаза к небу. — Решения их — тайна для смертных. Когда в Фивы дошла весть, что ваш корабль погиб при Просописе и все воины с ним, тогда сын мой, жена твоя, убитая горем, поболела душою с год, а потом отошла в область бога Озириса, на запад, за великую реку, и

погребена в своем вечном жилище.

Адирома закрыл лицо руками.

— Не скорби, сын мой, не нам судить веления богов, — сказал жрец наставительно, — она была оплакана в продолжение семидесяти дней плача по закону наших богов.

Зная, что утешения для Адиромы были бы теперь бесполезны, Пилока и Инини старались свести разговор на другую почву. Они велели своим воинам-возницам подъехать ближе.

— Полюбуйтесь нашей добычей, — сказал Пилока.

На одной колеснице лежал, прикрепленный к ней ремнями, огромной величины мертвый лев; на другой — несколько газелей.

— Как вы могли осилить такое чудовище! — удивился жрец, подходя и осматривая льва.

— Мы молились богу Монту, и он помог нам, — отвечал добродушно Инини.

— Бог Монту и опытность нашего друга Инини совершили это чудо, — сказал Пилока. — Вот этими медными стрелами, — он снял с плеч колчан и положил на колесницу, где лежал лук, — нечего и думать сразу положить на месте этого фараона пустыни, — он указал на льва, — а не срази его одним ударом, тогда сам прощайся с жизнью — прямо отправляйся к Озирису. Вот Инини и говорит: чтобы победить сильнейшего врага, надо его прежде ослепить; так у нас, говорит, в Ливии и Нубии, в стране Куш, побеждают крокодилов и бегемотов, — ослепим, говорит, и мы льва. И вот, помолившись богу Монту, мы приступили к делу. Мы раньше разведали, что лев каждое утро ходит на водопой к «великому озеру» (Меридово озеро) Таше по одной и той же тропе, через прибрежные высокие тростники. Тогда, оставив колесницы и коней с возничими у дальней пирамиды Менкаура (Микерина), мы взяли с собой одну убитую газель и пошли с нею в тростники, окружающие с той стороны «великое озеро». Достигнув «тропы льва», мы положили на самой тропе газель так, как будто бы она спала, а сами, впереди ее, ближе к озеру, засели в тростнике, я по правую сторону тропы, а друг Инини — по левую, и условились так: известно, что лев при восходе солнца всегда приветствует восхождение бога Ра громким рыканием; услышав этот рев, мы догадались, что лев идет, и сказали друг другу: он будет идти по этой тропе и, увидав нечаянно спящую газель, удивится и остановится, чтобы приготовиться к прыжку; он будет пристально глядеть на нее; тогда, по знаку, по легкому свисту, мы разом должны спустить натянутые тетивы, и наши стрелы должны вонзиться ему в глаза — моя в правый глаз, его — в левый. Мы так и сделали. По шороху и треску мы догадались, что лев приближается. Скоро мы увидели его, и он моментально остановился, увидев впереди себя, не более как на один прыжок, спящую газель. Глаза его сверкнули зеленым огнем, он пригнулся, чтобы сделать прыжок... Свист — и стрелы вонзились ему в оба глаза! Надо было слышать его рев, его стон, надо было видеть его страшный прыжок вверх! Он упал навзничь и стал лапами выбивать стрелы из глаз... В этот момент мы разом метнули в него свои тяжелые медные копья — и они угодили ему под левую лопатку, рядом, копьё к копыю — и прямо в сердце... Лев задрожал весь и в судорожных конвульсиях вытянулся. Он был мертв, он был наш!

Адирома тоже подошел к мертвому льву.

— Так это я его рев слышал сегодня на заре, — сказал он задумчиво.

— Вероятно, его, — отвечал Инини. — Но какая величина! Знаешь, друг, что мы сделаем с этим львом? — обратился он к Пилока.

— А что?

— Мы его шкуру подарим нашей доброй царице, госпоже Тиа.

— Правда, мысль хорошая: пусть она топчет своими ногами шкуру фараона...

Он не договорил и лукаво взглянул на жреца.

— Да, шкуру фараона... пустыни, — добавил Имери тоже не без лукавства. — Так прежде надо ослепить врага? — многозначительно взглянул он на Иини.

— Ослепить... а потом в сердце, — отвечал тот.

— Но прежде надо газель убить, — добавил Пилока.

— Да, да... и положить ее на тропе к водопою, — согласился Иини.

— Ну, газель не легко убить, — заметил старый жрец.

— Нет, отчего же? Нам нетрудно... пробраться в стадо газелей, — загадочно проговорил Пилока, обменявшись с Иини мимолетным взглядом.

— Да, правда, на то мы записные охотники, — согласился последний.

Адирома не понимал, о каком «враге» идет речь и что это за «газель», которую следует убить. Ясно, что они говорили намеками, и все трое понимали друг друга. Очевидно, у них была какая-то тайна, и, вероятно, серьезная, если в нее, по-видимому, посвящена такая почтенная личность, как старый жрец бога Хормаху. Да и Пилока и Иини занимали очень солидные места в государственной иерархии Египта: первый был советником и секретарем казнохранилища фараонов, а последний — советником двора царского. Вероятно, что-нибудь затевается при дворе, что-то похожее на заговор. Неужели против Рамзеса? Недаром они говорили о льве как о «фараоне пустыни». Не он ли «враг»? Только кто же его противник? И кто эта «газель»? Адирома так долго находился в отсутствии, что для него совершенно неизвестно было настоящее политическое состояние Египта. Очевидно, в стране образовались партии, и одна партия что-то замышляет против Рамзеса.

Адирома, однако, не высказал своих подозрений, тем более что при нем говорили намеками, загадками, не посвящая его в свою тайну, хотя, для заговорщиков, и говорили слишком откровенно. Без сомнения, они не боялись Адиромы или уверены были, что он сделается их союзником.

— Когда же ты в Фивы, сын мой? — спросил его жрец.

— Сегодня, святой отец, — отвечал Адирома, — нынче к вечеру отходит туда судно очень удобное, поместительное.

— О да, сегодня отходит в Фивы большой корабль, «Восход в Мемфисе», — заметил Пилока, — на нем и мы отправляемся.

— Тем лучше, — сказал Иини, — значит, все вместе. А ты, святой отец?

— И я тоже еду, — отвечал Имери, — у меня есть дело до верховного жреца богини Сохет.

— Это Ири? Достойный старец, — заметил Пилока, — он наш разум и свет.

IX. ЛАОДИКА, ДОЧЬ ПРИАМА

Через несколько часов после этого и жрец Имери, и Адирома, а равно и Пилока и Инины были уже на пристани, на берегу Нила. Медная корабельная труба кормчего уже два раза прозвучала в воздухе, возвещая о скором отплытии корабля. Матросы густились около снастей и парусов, перекидываясь остротами и бранью. По сходням толпились пассажиры и рабы, нубийцы, финикияне, фригийцы, пафлагоняне, ахейяне и данаи, таская на корабль тюки с товаром, отправляемым в Верхний Египет, в Фивы и в попутные по Нилу города. Пронесли туда же и шкуру убитого утром около Меридова озера льва, а равно пожитки старого жреца, Пилока и Инины. За пожитками и сами они последовали на корабль.

В это время к корабельным сходням подъехали две колесницы, с которых сошли: с одной — молодой египтянин в богатом одеянии с золотыми обручами на голых кистях и такую же цепью на шее, с другой — старая негритянка, обитательница земли Куш, а с нею молодая стройная девушка под прозрачным покрывалом; негритянка несла за ней опахало из страусовых и павлиньих перьев, которое и держала над девушкой, как щит от солнца.

— О боги! Неужели это ты, добрая Херсе! — воскликнул Адирома при виде негритянки.

— Адирома! — воскликнула в свою очередь последняя в величайшем изумлении.

Девушка под покрывалом вздрогнула при этих восклицаниях и остановилась.

— Кто с тобой, добрая Херсе? — спросил Адирома, глядя на девушку.

Последняя несколько приподняла покрывало с лица, и на изумленного египтянина глянуло прелестное личико с золотистыми волосами Ганимеда.

— О Горус! — еще с большим изумлением воскликнул египтянин. — Богоравная Лаодика, дочь божественной Гекубы и Приама!

Но в третий раз прозвучала медная труба кормчего, и надо было торопиться на корабль. Молодой египтянин с золотой цепью на шее жестом приказал негритянке и той миловидной девушке, которую Адирома назвал Лаодикой, дочерью Приама и Гекубы, следовать за собой на корабль. За ним рабы несли тюки и связки с пожитками.

— Кто эта белая девушка? — спросил у Адиромы Пилока, тоже спеша на корабль.

— О, друг Пилока! — грустно отвечал Адирома. — Какая превратность судьбы. Это младшая дочь троянского царя Приама — да будет чтима его память вовеки! Но как юная царевна попала в Египет вместе со своей няней-рабыней — я, видят боги, не постигаю... Я помню только тот ужасный час, когда по Трое разнеслась весть, что из деревянного коня, из его утробы, неожиданно вышли данаи — Одиссей, Менелай, Неоптолем, сын Ахилла...

— Из какого деревянного коня? — спросили и жрец, и Инины.

— Да вы ничего не знаете, — спохватился Адирома, — десять лет данаи напрасно осаждали Трои; много храбрых мужей пало с той и с другой стороны — Патрокл, Гектор, Ахилл; напоследок коварные данаи, по совету хитроумного Одиссея, царя Итаки, соорудили огромного деревянного коня и в утробу его пустую, с потайной дверью, посадили несколько сот своих храбрейших витязей и, оставив коня у ворот Трои, сами сожгли свой стан, показывая вид, что совсем снимают осаду, и отплыли от Трои, чтобы поблизости укрыться со своими кораблями. Тогда троянцы, видя деревянного коня, оставленного врагами, и думая, что это — жертва богам, имели неосторожность ввести это чудовище в стены города...

— Боги их ослепили, — заметил жрец, — боги их безумны, как и они сами.

— Что же было дальше? — спросил ливиец Инины.

— Так когда ввели в город этого деревянного коня, — продолжал Адирома, — то, едва настала ночь, спрятанные в утробе коня данаи тотчас вышли из своей засады, и тогда началось ужаснейшее дело: Троя запылала со всех концов; данаи нападали на обезумевших от неожиданности и страха троянцев, беспощадно убивали их, а сокровища их и женщин выносили за город, куда уже подоспели с кораблями и другие, скрывавшиеся поблизости, их союзники. Это была страшная ночь! Пламя пожара освещало соседние горы и море; кровь в городе лилась потоками; стоны и вопли доходили до самого неба... Кто мог спастись — убегали в другие ворота, обращенные к горам... Я видел, как на моих глазах один за другим падали доблестные защитники Трои. Везде, при зареве пожара, сверкали медные шлемы, копья и щиты сражавшихся. Я видел, как погибли все шестьдесят сынов Приама и все мужья его дочерей-царевен.

Корабль между тем отчалил от берега. Северный ветерок надувал парус, и «Восход в Мемфисе» тихо шел вверх, словно гигантская птица, рассекая грудью мутные воды Нила. Высившиеся вправо на горизонте пирамиды, медленно двигались на север.

— А это его же дочь? — спросил Пилока, указывая на Лаодику. — Царевна?

Лаодика сидела на палубном возвышении у ног молодого египтянина с золотой цепью на шее. Над ними рабы держали опахала в виде зонтиков, для защиты от солнца. Негритянка Херсе заботливо навевала прохладу своим опахалом на юную царевну.

— Царевна эта — младшая дочь Приама и Гекубы, — отвечал Адирома.

— А что случилось со стариком Приамом? — спросил жрец.

— Не ведаю, святой отец, — отвечал Адирома, — я видел только, как увлекали в плен его двух дочерей, Кассандру-прорицательницу...

— Прорицательницу? — перебил его Имери.

— Да, святой отец, она имела дар пифии — она прорекала гибель Трои из-за Елены.

— А кто была эта Елена? — спросили Пилока и Инини.

— Елена была жена могущественного царя Менелая, красавица; но ее пленил один из сыновей Приама — Парис, и она убежала с ним от мужа в Трою. Так вот, из-за нее-то и возгорелась война между данаями и троянцами.

— О, красота женская! — вздохнул старый жрец. — Сколько в ней есть пагубного.

— Что ж, отец святой, — возразил Пилока, — красота — создание богов; вечные боги знали, для чего сотворили красоту: без красоты род бы человеческий прекратился, и некому было бы молиться и приносить жертвы богам... Красота великий дар земли бога Аммона-Ра и богини Сохет.

Жрец грустно покачал головой; он вспомнил, что и в его жизни красота женщины играла роковую роль...

— Так Елену отняли у троянцев? — спросил Инини.

— Отняли; я видел, как ее уносили из пылавшей Трои вместе с царевной Лаодикой.

— Вот этой самой?

— Да, — Боги! Как она прекрасна! — тихо проговорил Пилока. — Но как она попала сюда и кто этот молодой богатый египтянин? Вероятно, он купил ее где-нибудь.

— Не знаю, — отвечал Адирома.

— А кто эта старая негритянка, с которой ты говорил и которая, по-видимому, знает тебя? — спросил снова Пилока. — Она назвала тебя по имени.

— Это рабыня царя Приама и воспитательница Лаодики: она ходила за маленькой царевной с колыбели. Херсе — так зовут негритянку — наша, египтянка, из племени Куш, и была взята в плен финикийцами лет тридцать тому назад и продана в Трою. Там она взята была ко двору царя Приама, где и я с нею познакомился, будучи рабом в этом же царском доме. Херсе научила говорить по-египетски и свою питомицу-царевну, а теперь это очень пригодится царевне, раз она попала в Египет, — сказал Адирома.

Молодой богатый египтянин, со своей стороны, по-видимому, расспрашивал черную рабыню, кто этот Адирома, который заговорил с нею, потому что и египтянин, и Херсе часто поглядывали на него и на его собеседников.

Наконец, молодой египтянин встал и направился в сторону последних. Подойдя к ним, он сказал всем обычное ходячее приветствие и обратился к Адироме.

— Боги да даруют тебе здоровье и счастье, благородный Адирома! — сказал он. — Моя рабыня говорит, что она была в чужих странах вместе с тобою, и что ты взят был в плен при Просописе в морской битве?

— Она сказала правду, — отвечал Адирома.

— А на каком корабле ты сражался? — снова спросил египтянин.

— На корабле «Ибис», — был ответ.

— О боги! — воскликнул молодой египтянин. — Значит, ты знал моего отца.

— А кто твой отец? — спросил Адирома.

— Он был начальником корабля «Ибис» в морской битве при Просописе: имя моего отца — Аамес.

— Я знал благородного Аамеса, — сказал Адирома, — он был моим начальником.

— Но «Ибис» был потоплен финикийцами?

— Да, это было ужасное наказание, посланное нам немилосердным богом Сетом, грозным сыном Озириса.

— И мой отец погиб тогда, утонул?

— Не знаю, мой молодой друг, — отвечал Адирома.

— Но как же ты спасся? — спрашивал молодой египтянин.

— Великий Озирис сжалился надо мною: меня выбросила морская пучина, и я взят был пленником на финикийский корабль, — отвечал Адирома.

— Но, быть может, великий Озирис помиловал и моего отца? Быть может, что и он взят был в плен? — продолжал спрашивать молодой египтянин.

— Не знаю, сын благородного Аамеса, — отвечал Адирома, — я его потом нигде не видел.

Сын Аамеса постоял, подумал и хотел было уйти, но остановился.

— Так ты, благородный Адирома, знавал и мою молодую рабыню? — спросил он.

— Да, знал, — был ответ.

— И действительно она дочь троянского царя Приама?

— Да, она царица из несчастной Трои. А как она тебе досталась?

— Я купил ее на рынке в Цоан-Танисе вместе со старой негротянкой: она мне понравилась своей красотой — таких белых кошечек у нас в Египте нет... Любопытно иметь наложницей такую беленькую кошечку, — цинично сказал сын Аамеса, скаля свои белые зубы.

Глаза Адиромы сверкнули гневом, но он сдержал себя.

— Юная царица достойна лучшей участи, — сказал он, — боги велют нам уважать несчастье.

— Какое же это несчастье — разделять ложе с сыном славного Аамеса? — высокомерно возразил молодой египтянин.

— Но прелестное дитя могло бы быть и женой, — заметил как бы про себя жрец, все время молчавший, — женою царя.

— Да, святой отец, но кувшин без воды, как бы ни был хорош, все же пустой кувшин, — возразил сын Аамеса, — а жена без придачи — тот же пустой кувшин.

Жрец пожал плечами. Молодой египтянин хотел было уйти, но опять остановился в нерешительности.

— Я не знаю, как же быть с гробом отца? — сказал он, глядя на Адирому.

— А что? — спросил тот неохотно.

— Да вот в чем дело: отправляясь в поход из Цоан-Таниса, отец мой заказал там для себя, по обычаю предков, гроб и продиктовал сам мастеру искусства изображений знаков Аммона то, что именно он должен был вырезать на гробе. Его воля была исполнена, но он с похода не воротился — быть может, утонул или взят в плен. Теперь, согласно договору отца с мастером, я должен был взять гроб, — он давно был готов — и вот везу его с собой в нашу родовую усыпальницу, в город Нухеб. Как же мне быть с этим гробом, если отец не воротится из плена, чтобы спуститься в подземный мир в нашей усыпальнице, или если его тело не будет отыскано? — вопросительно обратился молодой египтянин к жрецу.

— А где этот гроб? — спросил Имери.

— Вон там стоит под пологом.

Жрец, а за ним и другие пошли к кормовой части корабля, где они и увидели богатый гранитный саркофаг, весь исписанный красивыми иероглифами.

— А прочитайте, какие подвиги совершил мой отец, — хвастливо проговорил молодой египтянин.

Жрец стал читать вслух:

«Умерший начальник корабельного экипажа Аамес, сын Абаны, говорит так:

«Я говорю к вам, всему народу, и объявляю о почетной награде, мною полученной.

Я восемь раз был одарен золотым даянием перед лицом всей страны, и рабами, и рабынями в великом множестве.

Я владел многими полями земли. Наименование «храброго», которое я заслужил, никогда не забудется в этой земле.

Я провел свою молодость в городе Нухебе. Отец мой был военачальником покойного царя Рамзеса П-Миамуна.

И сделан я был начальником на его место на корабле «Телец» во время господина земли Минепты Н-Хотепхимы.

Я был еще молод и не женат и опоясан одеждой молодежи. Но после того как я приготовил тебе жилище, я был взят на корабль «Север», потому что я был силен.

Должность моя была сопровождать великого господина — жизнь и счастье и здоровье да будут его уделом — пешком, когда он ездил на колеснице.

Обложили город Аварис. Служба моя была пребывать пешком перед его святейшеством.

Тогда я был переведен на корабль «Восход на Мемфисе»...»

— Этот самый, на котором мы плывем, — пояснил молодой египтянин.

Жрец продолжал читать:

«Сражались на воде, на озере Пацетку, близ Авариса. Я сражался врукопашную и взял одну руку. Это было сказано докладчику царя. Мне дали золотой дар за храбрость.

Потом возгорелся на этом месте новый бой, и я снова сражался врукопашную и взял одну руку. Мне во второй раз дали золотой дар.

Сражались при местности Такем на юг от города Авариса. Здесь я взял живого пленного, взрослого человека. Я влез в воду, и, ведя его, чтобы остаться в стороне от пути, ведущего к городу, шел я водою, держа его крепко. Обо мне сказали докладчику царя. Тут я получил еще раз золотой дар.

Взяли Аварис. Я взял там пленных — взрослого человека и трех женщин, всего четыре головы. Его святейшество отдал мне их в собственность как рабов.

Обложили город Шерохан. Его святейшество взял его. Мне дали золотой дар за храбрость. К тому отданы были мне пленницы как рабыни.

После того, как его святейшество искрошил сирийцев земли Азии, поехал он вверх по Нилу в Хонтхониофер, чтобы разбросать горных жителей Нубии. Его святейшество весьма много поразил между ними. И я там взял добычу: двух женщин, двух живых взрослых людей и три руки. И мне снова дали золотой дар, к тому дали мне двух рабынь. И его святейшество поехал вниз по реке. Сердце его было радостно по храбрым и победоносным делам. Он взял во владение земли юга и севера.

Тогда пришел враг с юга и приблизился. Его преимущество заключалось в многочисленности его народа. Божества юга были против его силы. И его святейшество нашел его при воде Тент-та-тот. Его святейшество увел его в плен живым. Все люди царя возвратились с добычей. Я узел двух молодых людей, отрезав им отступление от корабля. Мне дали пять голов кроме удела в пять мер пахотной земли, которые дали мне в моем городе. То же самое дали и экипажу корабля.

Тогда пришел тот же враг — имя его Тетаан (имя вождя?). Он собрал около себя шайку злых людей. Его святейшество уничтожил его и слуг его, так что не стало их. Тогда были мне даны трое людей и пять мер пахотной земли в моем городе.

Я вез водою покойного царя Сети П-Минепту, когда он ехал по реке против Куша, чтобы расширить границы Египта. Он поразил нубийца в среде его воинов. Загнанные в теснину, не могли они бежать. В замешательстве стояли они, как будто они были ничто. Я тогда стоял впереди наших воинов и сражался как следовало. Его святейшество удивлялся моей храбрости. Я взял две руки и принес их к его святейшеству. Разыскивали жителей нубийца и его стада. Я привел живого пленника и привел его к его святейшеству. Я привез его святейшество в два дня в Египет от верхнего колодца Хнум-хирт. Тогда подарили мне золотой дар. Тогда я привез двух рабынь, кроме тех, которых я привел перед его святейшеством. И я был возвышен на степень витязя царя.

Я вез покойного царя Сетнахта-Мерер-Миамуна, когда он ехал водою в Хонт-хоннофер, чтобы подавить распрю между жителями и чтобы отразить нападение со стороны суши. И я был храбр перед ним на водах. При нападении на корабли было нам плохо вследствие перемены ветра. Я был возвышен на степень начальника корабельных экипажей.

Снова встали презренные жители страны Куш. Тогда возгорелся гневом его святейшество, как пантера, и он бросил свою первую стрелу, которая осталась в теле неприятеля, который упал без чувств перед его царским венцом. И тогда произошло великое поражение неприятеля, и увели весь народ в плен живыми.

И поехал вниз его святейшество. Все народы были в его власти. И этот презренный царь нубийских народов был привязан к носу корабля его святейшества и выложен на землю, в городе Фивах.

После того отправился его святейшество в страну Рутенну, чтобы охладить жар своего мужества на жителях страны той. И достиг его святейшество земли Нахараина. Его святейшество — да будет жизнь, счастье и здоровье его уделом — нашел этих неприятелей. Он назначил порядок битвы. Его святейшество нанес великое поражение им.

Бесчисленно было множество живых пленных, которых его величество увел победами своими. И вот я был впереди наших воинов. Его святейшество удивлялся моей храбрости. Я взял и увел военную колесницу с конями и того, который на ней находился, живым пленным и представил их его святейшеству. Тогда я был одарен золотом».

— Здесь он велел оставить место для будущих дел своих и подвигов, — заметил молодой египтянин.

— Да, — иронически вставил слово Инини, — здесь придется вырезать: «При Просописе я погиб вместе со своим кораблем».

Но сын храброго Аамеса не понял иронии.

— А вот конец подписи, — показал он внизу гробовой Доски.

«Я сделался высокоуважаемым — прочел жрец — и достиг старости. Со мной будет то, что есть удел всех людей на земле. Я снизойду в подземный мир и буду положен во гробе, который я для себя сам велел сделать» [11]. Жрец кончил и задумался.

— Кого же ты положишь в этот богатый гроб, если твой отец съеден акулами Великой зеленой воды (Уат-Ур)? — спросил он сына Аамеса.

— Не знаю, святой отец, — отвечал молодой египтянин.

— Надо будет положить его изображение, исполнив над ним все похоронные обряды бога Озириса, — сказал жрец.

Х. ВОСПОМИНАНИЕ О ТРОЕ

Юная Лаодика между тем с глубокой тоской смотрела, как корабль все более и более удалялся от тех мест, которые, казалось ей, омываемы были ее родным морем. Эти мутные воды реки, так непохожей на родной Ксанф или Скамандр, эти пугающие ее гиганты-пирамиды, высившиеся к незнакомому небу, эти молчаливые звери-люди, сфинксы, эти храмы чудовищные, непохожие на ее родные храмы — храмы ее богов, отвернувших от нее лицо свое, эти выжженные солнцем горы с мрачными в них пещерами-гробницами, хранилищем старинных мумий, эти гигантские пальмы, так непохожие на милые лавры и мирты ее родины, — все это еще больше заставляло ее мысль и ее изболевшее сердце тянуться к милому северу, к грустным теперь, опустошенным берегам бедной Трои, к ее задумчивым рощам, к озаряемой родным солнцем, а теперь затуманившейся облаками Иде, к священному Илиону.

Милое, золотое, невозвратное детство, когда она с братьями и сестрами и с этим обломком ее прошлого, с доброй черной няней Херсе бегала по берегу родного моря! Никого из них не осталось. Нет и Кассандры, которую она видела последний раз в эту ужасную ночь — жива ли она? Может быть, подобно ей, томится в неволе, в чужой стране. И никого-то не пришлось ей оплакать, как оплакала она когда-то доброго Гектора — милого Гектора, который ее, маленькую Лаодику, часто носил на руках или пугал ее, надев свой страшный, косматый и блестящий шлем, как в последний день своей жизни он испугал этим шлемом своего маленького Астианакса. Никого не осталось!

А милый родной дом — дворец ее отца? Что с ним: остался ли он цел или сгорел в эту ужасную ночь вместе с остальной Троей?

Лаодика глянула туда, где сидел Адиррома со своими спутниками и где был ее господин — господин Лаодики, любимой дочери царя Приама, а теперь рабыни!

При виде Адиромы на нее повеяло чем-то родным, милым. Ведь сколько лет она видела его в своем дворе, в числе рабов своего отца. Когда она была много меньше, Адиррома часто делал ей игрушки — лепил из глины сфинксов и бога Аписа или пел египетские песни. Как он спасся из Трои, когда все там погибло? Как он попал в Египет? Может быть, он знает что-нибудь о судьбе ее отца, матери, братьев и сестер.

— Надо бы поговорить с Адиромой, няня, — сказала Лаодика своей черной Херсе, — он такими добрыми глазами посмотрел на меня.

— Да, милая царевна, я постараюсь поговорить с ним, — отвечала старая рабыня.

— Поговори, он добрый.

— Да, он, может быть, знает что-нибудь о Трое.

— О, всемогущие боги! — тихо вздохнула девушка. — За что вы послали на нас гнев свой? Разве мы мало приносили вам жертв? Разве не часто бедный, милый отец мой возжигал вам костры с целыми гекатомбами? А не я ли сплетала вам венки из лавров и миртов? Не я ли курила перед вами благовониями Востока? О, безжалостные боги!

Слезы тихо струились по щекам обездоленной жертвы неумолимого рока.

— Не плачь, дорогая, светлая царица, не тумань своих ясных глазок: боги милостивы, они воротят тебе и родину, и родной кров, — утешала ее старая негрятка. — Вот я давно уж и забывать стала свою горную страну, свою жаркую Нубию и этот Египет, куда я вывезена еще девочкой, а вот боги, хоть я уж и не просила их, а опять привели меня в страну солнца, к пирамидам, к моему великому богу Горусу.

— Нет, добрая няня, сердце мое говорит, что не видать уж мне больше священного Илиона, — грустно говорила Лаодика. — Как перелететь через эти безбрежные моря?

— Не говори этого, милая царица: наши боги всемогущи, и если ты будешь молиться матери богов, великой Сохет, то она обратит тебя в ласточку, и тогда ты перелетишь через все моря, сядешь на кровлю родного дома и защечечешь: все тебя сейчас узнают.

— Э, няня! Это сказки для малых детей. Для меня уж нет возврата: я так и умру здесь рабыней.

Рабство — удел женщины древнего мира, раз что она взята в плен победителем или пиратом и потом продана на рынке, как товар! И вот прелестная Лаодика, царица священного Илиона, Лаодика, которую впоследствии Гомер воспекает в своих наивных рапсодиях, эта Лаодика, по словам творца «Энеиды» и «Одиссеи», «миловиднейшая дверь Гекубы», теперь рабыня, невольница сластолюбивого египтянина.

— Ну а если боги не превратят тебя в ласточку, то все же ты не будешь рабыней: наш теперешний господин, Абана, сын Аамеса, сделает тебя своей женой; а Абана из знатного египетского рода, — утешала ее Херсе.

— Я не хочу быть и женой его, — проговорила Лаодика.

— Отчего же, милая царица? Он такой красивый, молодой, богатый.

Лаодика отрицательно покачала головой: она охотнее желала бы быть женой троянского пастуха, чем египетского сановника. Абана казался ей таким грубым и, несмотря на свою молодость и знатность, физически противным.

— Нет, няня, если уж боги не судили мне вновь увидеть священный Илион, то уж я лучше желала бы скорее сойти в область Аида: там я увижу милого Гектора, моих добрых братьев Полидора, Ликаона... Их милые тени скитаются теперь, быть может, по берегам Леты или Стикса и Флегетона... О няня! Для меня роднее и любезнее Лета или Ахерон, чем этот чужой Нил; я бы охотнее помогала Сизифу катить на гору его заколдованный камень, чем быть царицей Египта.

Херсе не могла без сердечной боли слышать эти слова своей питомицы и госпожи. Старая рабыня за все время, как нянчила Лаодику, с самой колыбели, страстно привязалась к этому милому, нежному ребенку. Сама одинокая, никогда не имевшая ни детей, ни родины, она сосредоточила в Лаодике весь свой мир, всю страстную, пламенную любовь негрятки. Так, вероятно, только львицы ее родины и пантеры любят своих детенышей: она действительно превращалась в разъяренную львицу, когда, бывало, ей казалось, что кто-либо обидел ее маленькую царицу. В такие моменты, бывало, Гектор называл ее Медузой, у которой волосы превращались в змей, и выражал шутовское сожаление, что нет более Персея, который бы отрубил голову этой Медузе. В последнюю ужасную ночь, когда при свете зарева пожара она увидела, что сын Агамемнона, Орест, схватил Лаодику, чтобы нести к себе на корабль, Херсе змеей обвилась вокруг ног Ореста и до тех пор не выпускала его из своих цепких клещей, пока он не обещал, что возьмет ее вместе со своей юной пленницей Лаодикой.

Теперь, поставленная злым роком на одну доску со своей царицей, будучи такой же вещью молодого египтянина, как и Лаодика, она продолжала считать себя рабыней исключительно

этой последней. Для нее она готова была бы с радостью опять покинуть Египет. Что ей Египет! Она его забыла, она привыкла к той жизни, в далеком Илионе. А с Лаодикой она хоть на край света так пошла бы охотно.

А Лаодика, глядя на эти мелькающие по берегу Нила храмы и дворцы неведомых городов, вспоминает, как когда-то слепой певец, Креон, воспевал их дом в Трое, их милые «палаты, обителище счастья»:

«Все лучезарно, как в небе, в палатах царя Илиона, Старца Приама, богов олимпийских любимого сына;

Солнце и месяц и звезды в палатах его обитают.

Солнце — то сам он, Приам богоравный, а ясный там месяц, Ночь превращающий в день, — то Гекуба, богиня среди смертных;

Яркие звезды — сыны их и милые дочери и внуки.

Рай в тех палатах: там медные стены идут от порога, Сверху же увенчаны светлым карнизом лазоревой стали;

Входные двери из чистого золота ходят на петлях Медных — Гефест их ковал в своей кузнице молотом тяжким;

Аргусы — псы из чистейшего золота денно и ночью Дверь охраняют; внутри же там — лавки богатой работы, Крытые тканями яркого пурпура...»

Вспоминала Лаодика и сад свой, где она так любила играть со своими братьями и сестрами и с этой преданной Херсе, — «сад, обведенный высокой оградой». Росло там, в этом родном саду, «много деревьев плодоносных — яблонь и груш, и гранат, отягченных золотыми плодами». Все было в этом дивном саду: «сладкие смоквы, маслины круглый год, и в знойное лето, и в зиму холодную зрели на ветках...»

В это время к ним подошли Абана и Адирома.

— Да хранят тебя вечные боги, богоравная дочь Приама! — сказал почтительно Адирома.

Он заговорил на родном языке Лаодики, и грустное лицо девочки прояснилось. Уже одно присутствие здесь, в чужой стране, этого человека, которого она с детства видела около себя в родном доме, теплом повеяло на ее душу.

— Боги да наградят тебя за твою доброту, Адирома, — сказала с чувством Лаодика. — Расскажи нам, как ты попал сюда и что ты знаешь о последующей судьбе всех близких мне и об участи, постигшей священный Илион?

— О, богоравная дочь Приама и Гекубы, — с грустью отвечал Адирома, — не отрадны будут для тебя мои вести. Вот все, что я знаю: когда тебя и пророчательницу Кассандру силой увлекли злодеи-Данаи и когда уже нельзя было сомневаться, что пылающая Троя стала добычей ее врагов, мы все, кто еще остался жив, решились спасаться бегством и вышли из города северными воротами, которые не были заняты врагами. Оттуда дорога шла в горы, по направлению к Дарданосу. С ближайших высот мы увидели, что Троя вся объята пламенем; пылал и ваш прекрасный дворец, некогда подобный Элизии — жилищу богов. Кто погиб от меча врагов и от всепоглощающего пламени, мы не могли знать; мы знали только немногих спасшихся, между которыми был и Эней, сын Анхиза, доблестный вождь храбрых из Дарданоса...

— Эней! — тихо сказала Лаодика, и не то вздох, не то стон вырвался из ее груди.

— Да, Эней, богоравная дочь Приама, — продолжал Адиром, — он на плечах своих вынес из пылающего города престарелого отца, Анхиза, а старая, немощная Креуза несла за ними своих пенатов.

— Кто же еще спасся с вами? — спросила Лаодика.

— Вместе с Энеем спаслись еще Палинур, Энтелл.

— А из моих братьев никто с вами не был?

— Никого, богоравная Лаодика. Может быть, они вышли другими воротами.

— Бедные, бедные! — прошептала Лаодика. — Что же Эней?

— Эней, увидев, что для города нет уже спасения, собрал нас всех и повел прямой дорогой в свой родной город Дарданос. Там мы наскоро снарядили корабли и морем бежали от злосчастных берегов священного Илиона... Мы издали видели, как он дымился, догорая.

Лаодика плакала: она оплакивала гибель своего родного города и всего, что ей было дорого.

— А Эней? Что с ним случилось? — спросила она, стараясь подавить рыдания. К Энею юная Лаодика питала нежное чувство: она давно его любила пламенно; он первый разбудил в ней, почти ребенке, спавшую женщину, и она полюбила его со всей беззаветностью первой пробудившейся страсти. Но об этом чувстве никто не догадывался: ласки, которые она давала Энею в своем саду, в ночь перед его единоборством с Патроклом, видели с темного неба только молчаливые звезды.

— Эней, — отвечал на ее вопрос Адиром, — долго скитался со своими кораблями по бурному морю, преследуемый жестоким Посейдоном, пока нас не прибило к берегам Африки.

— Сюда, в Египет? — восторженно спросила Лаодика. — Так Эней здесь?

Казалось, что мгновенно мрачная пелена спала с ее глаз, и это чужое небо, сдавалось, глянуло на нее приветливо, любовно; Нил не казался таким мутным; высокие пальмы стали красивее, гранитные, задумчивые сфинксы — не так строгими.

— Да, богоравная Лаодика, почти в Египет, только туда, западнее, ближе к Атланту, где этот гигант держит на своих плечах свод небесный, — отвечал Адиром, — мы пристали к городу Карфаго, где царицей была прекрасная Дидона.

— Дидона? — неожиданно вмешалась в разговор Херсе, которая до сих пор все молчала. — Она, должно быть, внучка нашего бывшего ливийского царя Дидо, которого разбил фараон Минепта II. А каких лет она, добрый Адиром?

— Лет около двадцати-двадцати.

— Так это она: я видела ее мать еще совсем ребенком, она опоясывалась тогда еще поясом младенчества. О боги! Как быстро обращает великий Озирис колесо времени! И у нее уже дочь, царица, — говорила старая Херсе, качая поседевшей головой.

— Где же теперь Эней? — со сдержанным нетерпением спросила Лаодика.

— Не знаю, богоравная дочь Приама, — отвечал Адиром.

— Что же Дидона? — снова спросила Лаодика. — Она приняла вас?

— Не только приняла, но она отдала Энею и себя, и свое царство.

Заметная бледность разлилась по миловидному личику Дочери Приама.

— Себя отдала Энею? — спросила она чуть слышно.

— Да, и все царство.

— И он взял ее? — Адирома только по движению побледневших губ Лаодики мог прочесть ее беззвучный вопрос.

— Нет, не взял. Он следовал велениям богов: они повелели ему отплыть в землю италов, к самому краю земли.

— И он отплыл?

— Отплыл, царица.

— А Дидона? — голос Лаодики срывался.

— Дидона сожгла себя на костре.

— Как! Что! — Лаодика привстала, вся дрожа.

— Дидона полюбила Энея и не могла перенести разлуки с ним.

Краска медленно возвращалась на бледные щеки Лаодики.

Вечерело. На землю, на Нил, на горы спускались тени ночи. В вечернем воздухе прозвучал медный голос трубы кормчего, и «Восход в Мемфисе» стал поворачивать к берегу, на ночлег.

XI. ПОХИЩЕНИЕ ЛАОДИКИ

«Дидона полюбила Энея и не могла перенести разлуки с ним». Эти слова неотступно теперь преследовали Лаодику. А она, Лаодика, разве не любила его, не любит? Он вытеснил из ее сердца все — родину, отца, мать, братьев, сестер. Для него забыты боги, храмы их, алтари, жертвенники... Она помнила только одно божество — Афродиту. Ее покровительства она просила, когда, накануне единоборства Энея с Патроклом, шла ночью в сад на свидание с сыном Анхиза. И Афродита послала ей свою милость. Разве теперь Лаодика может забыть, что было тогда, в эту божественную ночь, когда только безмолвные звезды могли видеть с темного неба их ласки, их объятия, ее счастливые слезы?

Неужели же эта африканка, эта царица Карфаго, Дидона, любила его больше? Да, больше, больше! Она не задумалась пойти на костер, когда его не стало, когда он покинул ее по повелению богов: Дидона не перенесла разлуки. А она, Лаодика, которая любила его больше своей жизни, она не была убита разлукой: она не пошла на костер. Нет! Не может быть, чтобы Дидона больше любила! Эта гордая африканка погибла оттого, что он ее бросил, отверг ее любовь. Это ясно. Значит, она говорила Энею о своем чувстве? Он слушал ее?

Болью отдался в сердце Лаодики этот вопрос. Значит, любовь Дидоны к Энею не была тайной — все знали об этом? Да, конечно, и Адирома знал, и все знали.

Эти мысли не давали спать Лаодике в то время, когда весь корабль погружен был в сон. Лаодика лежала под наметом из белого финикийского виссона и не могла сомкнуть глаз. Намет был полуоткрыт, и в отверстие Лаодика видела темное небо, усеянное звездами. Эти звезды и тогда смотрели на них, когда Эней так безумно ласкал ее.

Уже одно сознание, что он жив, наполняло сердце Лаодики благодарностью к богам. Он жив, он думает о ней. И в неведомой земле италов он вспомнит о своей Лаодике.

Нил тихо журчал у кия корабля. На берегу, медленно потухая, иногда вспыхивал огонек, с вечера разведенный матросами. За Нилом, в каменоломнях, слышался по временам крик ночной птицы.

Где же эта таинственная земля италов? И неужели можно перелететь через море ласточкой?

В темноте Лаодике показалось, что полог ее намета шевелится. Она стала вглядываться. Скоро полог несколько раздвинулся.

— Это я, милая царевна, — слышался осторожный шепот старой негритянки.

— Что тебе, Херсе? Разве ты не около меня спала? — так же осторожно спросила Лаодика.

— Тише... Богиня Гатор посылает тебе спасение.

— Что ты, няня!

— Богиня Гатор покровительствует молодости и красоте... Твоя красота растопила сердце доброго божества: богиня хочет спасти тебя от Абаны, которого ты не любишь.

— О боги! Но как она спасет меня?

— Вставай и иди за мною: пока всевидящее око Аммона-Ра глянет на землю, мы будем уже далеко: Абана не догонит нас.

Вся дрожа от волнения, Лаодика встала. Верность свою и глубокую преданность старая Херсе так много раз имела возможность доказать, что Лаодика верила ей слепо. Она знала, что Херсе желает ей добра.

— Сандалии на тебе? — спросила негритянка.

— На мне, няня.

— А вот тебе плащ — закутайся им плотнее.

Лаодика повиновалась. Оставив намет, беглянки тихо пробрались мимо спавших рабов своего господина. В темноте они дошли до сходней и никем не замеченные вышли на берег.

В темноте, словно из земли, выросла еще одна тень.

— Это я — не бойся, богоравная дочь Приама, я Адирома; следуйте за мной.

Беглянки удалялись от берега. Невидимая тропинка вела через пальмовую рощу. В темноте слышалось фыркание лошадей.

— Вот мы и дошли, — сказал Адирома.

В темноте вырисовывалась группа коней и неясные очертания людей. Ночной сумрак и таинственность наводили на Лаодику невольный страх, хотя она и уверена была в добрых намерениях Херсе и Адирома.

— Боги нам покровительствуют, — слышался в темноте чей-то голос.

Это был голос Имери, старого жреца бога Хормаху. С ним было еще несколько человек, и тут же стояли две парные колесницы. Жрец подошел к Лаодике.

— Благородная дочь Приама, — сказал он ласково, — пусть боги вселят в твою юную душу мужество! Я, жрец великого бога Хормаху, желаю тебе добра. Несчастье твоего дома предало тебя в руки и в рабство недостойному человеку. Ты не заслужила этой участи, и боги внушили мне благую мысль. Я хочу избавить тебя от того, кто называется твоим господином. Я и мои друзья, слуги царицы Тии, благородные советники фараона, Пилока и Инини, — мы хотим, чтобы ты и твоя верная Херсе сейчас же, не дожидаясь, пока солнце пошлет свой первый луч на землю, отправлялись на этих колесницах прямо в Фивы. Эти мужественные воины (он указал на молчаливые фигуры, стоявшие у лошадей) будут сопровождать и охранять вас. В Фивах вы явитесь к начальнику женского дома, к Боакамону, который и доложит о вас царице, — жизнь, счастье и здоровье да будут ее уделом! Вот тебе золото на дорогу, благородная отроковица, — жрец подал Лаодике кошелек. — Мы же сейчас воротимся на корабль, чтобы сын Аамеса, когда утром обнаружится ваше исчезновение, не заподозрил нас в чем-либо.

— Я скажу Абане, недостойному сыну Аамеса, — прибавил со своей стороны Адиррома, — что тебя, богоравная царевна, и добрую Херсе похитил твой бог, Гермес.

Лаодика со слезами целовала руки старого жреца.

— Да наградит тебя бог, святой отец, — шептала она.

— А тебя, милое дитя, пусть хранит великий Хормаху и всемогущая Сохет, мать богов, — сказал жрец, целуя ее в голову.

Лаодику и Херсе усадили в одну колесницу на мягкие шкуры газелей и велели их вознице не жалеть коней. В другой колеснице поместились три воина, служившие под начальством Пилока и Инини. Им же принадлежали и колесницы с конями.

Скоро беглянки исчезли во мраке тропической ночи, а жрец и Адиррома воротились на корабль, где никто и не заметил их временного отсутствия.

Лаодика очень удивилась, когда, проснувшись утром под ласкающими лучами солнца, она увидела себя в незнакомой местности. Все совершившееся ночью казалось ей сном.

— Где мы, няня? — спросила она.

— Мы на дороге благополучия, — лаконически отвечала старая негритянка.

Лаодика тотчас вспомнила события предшествовавшего дня: рассказ Адиромы, Эней, Дидона на костре, земля италов, неведомое море.

— Ах, няня, как бы я хотела быть ласточкой, — прошептала она.

XII. ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШЕГО

Прошло около десяти дней. Рамзес все еще не возвращался из похода; но в Фивах его и не ждали скоро. Говорили, что он предпринял поход далеко на север.

Солнце только что опустилось за Ливийские горы, окаймлявшие у Фив долину Нила с запада; но Фивы были все еще так же шумны, как и днем. Обыватели, которых вечер застигал вдали от своих жилищ, спешили по домам. Буйволы, коровы, ослы и козы с пастбищ возвращались в свои хлевы и закуты. Их сопровождали крики пастухов и лай собак.

В этот час, с задней половины дома Пенхи, в восточной, занильской части города, сквозь небольшое окошко, выходящее на Нил и завешенное изнутри полосатую занавесью, едва заметно просвечивал огонек.

Войдем внутрь дома старого Пенхи. Хозяин и его внучка Хену находились в задней половине дома, в той именно комнате, из маленького окошка которой просвечивал слабый луч огонька на Нил. Это была довольно просторная комната, освещенная висючей бронзовой лампой с четырьмя горелками в виде наклоненных цветков лотоса. На столе стояли две свечи в бронзовых же шандалах с изображениями филинов. Тут же лежали куски воска, ножи и лопаточки из пальмового дерева.

Старик Пенхи, наклонившись над столом, усердно лепил из воска какую-то фигурку в виде женщины, но с головой льва. На другом конце стола маленькая Хену тоже лепила какие-то фигурки, вся углубившись в свое занятие.

Подняв голову и взглянув на работу деда, она радостно захлопала в ладоши.

— Ах, дедушка, настоящая богиня Сохет! — воскликнула она, подходя к старику. — Ах, как хорошо!

— Да, дитя, она удалась мне, — задумчиво сказал старик, — сама богиня помогла.

— Она еще лучше, чем Озирис, — сказала девочка, подходя к нише и вынимая оттуда другую восковую фигурку. — А разве ты меньше молился Озирису?

— Нет, дитя, я усердно и ему молился.

— А посмотри, что я тебе покажу.

Хену подбежала к другому концу стола и взяла слепленные ею восковые фигурки.

— Смотри, дед, это — бог Апис, а это — я!

И девочка весело, звонко расхохоталась: ее смешили сделанные ею безобразные фигурки.

— Видишь, какая я? Ха-ха!

Старик добродушно улыбался, рассматривая произведение своей шалуны-внучки.

— А какой Апис! Какие рога! Вот он сейчас меня забодает.

И девочка снова залилась, прыгая вокруг стола.

— Постой, дед, я теперь слеплю самого фараона, — говорила она, принимаясь за воск.

В это время с берега Нила донесся резкий звук медной трубы.

— Это корабль откуда-то пришел, — заметил Пенхи.

Затем и старик, и девочка снова углубились в свои работы. Слышно было, как на дворе переговаривались рабыни, которые доили коров и коз. С Нила доносился неясный гул голосов: это шла спешная разгрузка прибывшего в Фивы корабля.

— Не будет ли каких вестей о фараоне? — проговорил про себя Пенхи.

— Может быть, он еще победил какого-нибудь царя в земле Либу, — заметила Хену.

На дворе послышался лай собак.

«Не чужой ли кто-нибудь? — заметил про себя Пенхи. — Надо бы все это спрятать».

Но вслед за тем собака залаяла радостно, отвечая на чей-то призыв. В то же время раздался не то радостный, не то испуганный возглас старой Атор, верной ключницы Пенхи и няньки Хену.

— О, всемогущий Озирис! Кого же я вижу! Ты ли это! Из подземного царства Озириса?

— Нет, добрая Атор, я не был в подземном царстве, — отвечал чей-то знакомый голос.

— Кто бы это? Чей это голос? — удивился Пенхи.

— А как боги милуют отца? Что маленькая Хену? — послышался тот же голос.

— Обо мне спрашивает! — с удивлением воскликнула Хену. — Кто это?

Пенхи как-то задрожал и весь вытянулся, превратившись в слух. Дрожащими руками он стал собирать и прятать куски воска, фигурки восковые, лопаточки. Лицо его сначала вспыхнуло, потом побледнело.

— Не может быть! — прошептал он. — О боги!

— Кто, дедушка? — спрашивала Хену, схватив деда за руку.

— Я не знаю, дитя... Мне почудилось... Он говорит — что отец...

— О, великая Гато! — послышались радостные голоса рабынь на дворе. — Наш господин!

— Где отец? Где моя Хану? — снова говорил тот же знакомый голос.

— О боги! Это он! Это мой сын! — проговорил старый Пенхи и бросился к двери. — Это твой отец, дитя, — он воротился из подземного царства!

Пенхи быстро отворил дверь. Там, в соседней комнате стоял Адирома.

— Адирома! Сын мой! Ты ли это! — воскликнул Пенхи, протягивая руки.

— Отец мой! Отец! Я опять тебя вижу!

И отец, и сын бросились друг к другу в объятия. Одна Хену стояла в каком-то оцепенении, словно забытая. Но в это мгновение в комнату с радостным визгом влетела собака Шази и бросилась лизать лицо девочки.

— Хену! Дитя мое! — нагнулся к ней Адирома, освободившись от отца. — Ты не узнаешь меня? Я твой отец! Какая ты большая выросла! О, Гатор! Ока у меня красавица!

Девочка, пораженная неожиданностью, совершенно растерялась. Давно освоившись с мыслью, что ее отец погиб в море, что его давно нет на свете, привыкнув думать о нем как о каком-то нетленном духе, превращенном, как ей казалось, в орла или в ястреба, она не могла теперь сразу освоиться с мыслью, что этот большой мужчина, который обнимает и целует ее, и есть ее отец. Она представляла его себе каким-то божеством, не похожим на людей и потому как бы чужим ей, и вдруг он — сильный, высокий, красивый мужчина.

А между тем Адирома поднял ее и, держа под мышки, то подносил к себе ее раскрасневшееся личико, то отдалял.

— Девочка! Красавица! Вылитая мать! Моя Хену, моя крошка! — повторял он.

Эта пламенная нежность сообщилась девочке. Хену радостно обхватила шею отца.

— Так ты мой отец? Да, отец? Ах, как я люблю отцов! — лепетала она.

— Отцов! — невольно рассмеялись и Адирома, и Пенхи.

— Отца! Тебя люблю! И деда люблю!

— Вот она и права, говоря, что любит «отцов»: она любит тебя, своего отца, и меня, твоего отца, — поспешил поправить свою внучку Пенхи.

Старая, сморщенная Атор стояла в дверях, и слезы умиления текли по ее смуглым щекам. Из-за нее выглядывали другие рабыни: их всех трогала эта нежная семейная сцена — трогала до слез. Каждая из них, может быть, думала, что если б и ей удалось когда-либо воротиться на далекую родину, куда-нибудь в горную Ливию, или в милую приморскую Финикию, или в знойную Нубию, то, быть может, и их встретили бы родные такими радостными слезами... Но где уж бедным рабыням думать о возврате! Они все здесь, в неволе, в стовратных Фивах, сложат свои кости и рабынями перейдут в подземное царство.

Только дворовая собака Шази была довольна и счастлива за всех: она раньше всех, раньше даже старой Атор узнала бывшего своего господина, который столько лет пропадал где-то. Она узнала его по глазам. Вот почему теперь она суежилась и бегала от одного к другому.

— Но, дитя, дай же нам поговорить, — сказал Пенхи внучке, которая теперь поместилась на коленях у отца и не позволяла ему шевельнуться.

— Слушай, сам бог Апис глядел мне в глаза, — болтала она.

— Ой ли? И ты не испугалась? — улыбнулся Адирома.

— Сначала испугалась, а потом нет.

— Да постой же, сиди смирно, дай отцу слово сказать, — говорил Пенхи, стараясь унять расхаживающую внучку. — Но расскажи, что с тобой было, как ты спасся от смерти, где находился все эти почти десять лет? — спрашивал он сына.

— Боги были милостивы ко мне, — отвечал Адирома, лаская голову девочки.

Он рассказал все, что нам уже известно, а потом прибавил:

— В Мемфисе, по воле богов, я встретился с почтенным Имери, жрецом бога Хормаху, а также с почтенными Пилока и Инини, с которыми и прибыл сюда на корабле «Восход в Мемфисе», и они познакомили меня со всем (на слове «всем» он сделал ударение), что происходило в мое отсутствие в Египте и в Фивах и что совершается теперь... О великий Аммон-Горус!

Пенхи, ничего не сказав, вслед старой Атор и другим рабыням, велел приготовить ужин для дорогого гостя.

— А где теперь Лаодика? — спросила Хену. — Ах, как бы я хотела ее видеть!

— Она теперь, милая дочка, должна быть уже в доме царицы, в женской палате, — отвечал Адирома.

— Бедная Дидона! — продолжала болтать девочка, — Зачем же она сожгла себя?

— С печали по Энее, девочка.

— Вот глупенькая! Я б никогда не сожгла себя.

И дед, и отец рассмеялись. Они видели, что, пока Хену не уснула, она не даст поговорить им о деле. Она болтала без умолку; но о том, что считала она секретом, о том, что они с дедом для чего-то лепили из воска фигуры богов, фараона и царевичей, — она даже отцу не заикнулась. И Пенхи хорошо знал с этой стороны свою умненькую внучку: то, что велят ей хранить в тайне, она никому не выдаст.

— А кто лучше — Дидона или Лаодика? — спросила она, соображая что-то.

— Лаодика лучше, — отвечал Адирома. — Лаодику я знал такую же маленькой, как ты.

— А какие у ней волосы? Черные, курчавые?

— Нет, милая дочка, у Лаодики волосы золотистые.

— Как золото? Вот прелесть! А у Дидоны?

— У Дидоны черные, как у тебя.

— Пхе! Я не люблю черные.

И опять она рассмешила и деда, и отца. Последний начал гладить и целовать ее.

— А вот я так люблю черные, такие, как у тебя, — говорил Адирома, перебирая курчавые пряди своей девочки.

— А глаза какие у Лаодики? — спрашивала Хену.

— Такие же хорошенькие, как у тебя.

— А знаешь, когда я упала на колени перед Аписом, и он поглядел мне в глаза, так все сказали, что я священная девочка.

— Да ты и так священная, — улыбнулся Адирома.

— Отчего священная?

— Оттого, что ты невинная.

— А Лаодика тоже священная?

— Да, и Лаодика священная.

— А Дидона?

Адирома рассмеялся.

— Ну, едва ли она священная.

— Да перестань, дитя, болтать глупости, — заметил Пенхи, — ты сегодня совсем с ума сошла, должно быть, от радости.

— А разве от радости с ума сходят? Вот ты, значит, не рад моему отцу, ты совсем не сошел с ума.

Пенхи только рукой махнул, а Адирома еще нежнее стал ласкать болтунью.

— Вот я так тоже схожу с ума, — сказал он, — из Трои да в Фивы.

XIII. ЛАОДИКА В СЕМЬЕ РАМЗЕСА

Рамзес III-Рампсинит был уже далеко не молод, когда вступил на престол своего отца, Сетнахта-Миамуна II, которому, еще при жизни последнего, он помогал управлять Египтом.

Как выше было замечено, Рамзес III имел уже восемнадцать сыновей и четырнадцать дочерей. Конечно, это были дети не одной царицы Тии, его законной жены, но многие прижиты им от других женщин его гарема, называвшегося просто «женским домом» фараона. Хотя все эти дети считались принцами и принцессами крови и хотя все они содержались одинаково, как дети фараона, однако, в силу господствовавшего в Египте «утробного права», не все были равны перед законом и перед страной.

«Утробное право» состояло в том, что первая, законная жена фараона пользовалась особым значением, и ей воздавались почести, отличные от других: она являлась преимущественной представительницей законного престолонаследия. Обыкновенно женатый на принцессе-наследнице фараон возводил на престол для совместного с собой царствования малолетнего сына своего, как бы упрочивая и узаконивая его именем, соединенным со своим именем, все свои действия и распоряжения перед народом и страной. При назначении фараонами удельных князей и наместников обыкновенно наследником удела считался внук царя, рожденный от дочери его, но не сын его и не сын сына его. Таким образом, закон лежал на стороне «женской утробы». Геродот говорит даже, что в обычае египтян было — возлагать попечение о престарелых и дряхлых родителях на дочерей, а не на сыновей.

В утро, следовавшее за прибытием Адиромы в Фивы, вся многочисленная семья Рамзеса находилась в саду, примыкавшем к женскому дому и обнесенном высокой каменной оградой. Стройные пальмы, сикоморы и громадные бананы давали достаточную тень саду, хотя солнце подобралось уже довольно высоко. Младшие члены семьи фараона, мальчики с локонами юности на щеках и девочки с золотыми обручами на головах в виде змея-уреуса, затеяли шумную игру, соответствующую ходячим интересам своего века: они изображали две воюющие стороны, из которых одна сторона представляла собой египтян, а другая — презренных обитателей страны Либу. Некоторые девочки-принцессы плакали, когда на их долю выпало быть презренными либу, и жаловались своим черномазым статс-дамам, что мальчики-принцы хотят отрезать у них руки по праву победителей.

Сторону обиженных сестренок приняла хорошенькая Снат, или Нитокрис. Она сказала, что превращать египтян и египтянок в презренных либу может только богиня Изиды.

— Где же, милая Снат, мы возьмем Изиду? — спросила самая маленькая принцесса, Гатор, названная так по имени богини красоты и любви.

— Я буду Изидой, — отвечала Нитокрис. — Принесите мне цветок лотоса и несколько колосьев пшеницы.

Маленькие принцессы бросились исполнять приказание старшей сестры и скоро явились с цветком лотоса и колосьями.

Шалунья Нитокрис приняла на себя важный вид богини.

— Становитесь на колени перед божеством! — сказала она повелительно.

Девочки тотчас же исполнили приказание богини, но некоторые юные принцы заупрямились, боясь превратиться в презренных либу. Однако Нитокрис продолжала свою роль.

— Начинаю с младших, — сказала она. — Гатор! Выбери себе один колос.

Юная принцесса дрожащей рукой вынула один колос из общей связки.

— Теперь отрывай от колоса одно зерно за другим и говори: Египет-Либу, Египет-Либу, так до последнего зерна. Если последнее зерно будет Египет, то, значит, ты египтянин; если же последнее зерно будет Либу, то и ты будешь презренным либу.

Девочка со страхом начала отрывать зерно за зерном.

Руки ее дрожали.

— Египет-Либу, Египет-Либу, — шептала она.

Все фараонята собрались вокруг и с жадным любопытством следили за процессом отрывания от колоса зерен, повторяя вслух: «Египет-Либу, Египет-Либу».

— Египет-Либу, Египет-Либу, Египет...

Гатор вся вспыхнула от неожиданности, от счастья: последним зерном у нее было — Египет.

— Милая Снат! — закричала она радостно. — Я египтянин!

Она вся светилась восторгом, глазки ее блестели. Это заинтересовало и мальчиков.

— Теперь я! Теперь мне! — приставали они к важной Изиде.

Нитокрис всех отстранила повелительным жестом.

— Теперь тебе, Рамзес-Горус, — сказала она, протягивая руку с колосьями младшему братишке.

Юный принц не без страха вынул колос.

— Египет-Либу, Египет-Либу, Египет-Либу, — шептал он, отрывая зерно за зерном.

Интерес зрителей возрастал все больше и больше.

— Египет-Либу, Египет-Либу, Египет...

— Либу! Либу! — захлопала в ладоши счастливая Гатор.

— Либу! Либу! — повторяли другие девочки. — Ты презренный либу! Либу!

— Я не хочу! 15 не хочу! — обиделся юный принц и бросил свой ощипанный колос.

Все юные фараоны пришли в волнение. Начались протесты. Девочки держали сторону Изиды.

— Теперь кому вынимать колос?

— Теперь Миамуну-Аммону.

— Нет, теперь Путифаре — она моложе Миамуна.

— Неправда! И мне восемь лет, и тебе!

— Мне восемь лет было давно — я старше!

— Нет, я старше: я из утробы царицы, а ты из утробы рабыни.

— Неправда! Моя мама тоже была царевна.

Дети слышали от старших об «утробном праве» и теперь препирались о старшинстве не по возрасту, а по праву рождения.

Но в это время в саду показалась сама царица Тиа в сопровождении своего первенца, Пентаура.

— А! Мама! — радостно проговорила Нитокрис, сбрасывая с себя всю напускную важность богини. — А с нею и Лаодика.

— Лаодика! Лаодика! — взволновались юные принцессы, а за ними и юные принцы, и все бросились навстречу царице и Лаодике.

Последняя по-прежнему смотрела задумчиво и грустно, хотя в выражении лица замечалось менее тоски и подавленности. Жена Рамзеса, когда Бокакамон представил юную дочь Приама ко двору, приняла ее очень любезно, ласково, совершенно с материнской нежностью: грустная судьба молодой девушки и несчастья, постигшие царство ее отца, расположили сердце царицы Египта в пользу бедной сиротки. Самая наружность Лаодики очаровала всех. Красота ее являлась чем-то невиданным под знойным солнцем тропиков, где лица почти так же смуглы, как и лица нубийцев, между тем как юная троянка была беленькая и с таким цветом волос, который казался чем-то необычайным черноволосым египтянам.

На мужчин дома Рамзеса Лаодика произвела еще более сильное впечатление, чем на женскую половину двора фараона. Пентаур, которому нравилась светло-каштановая хеттеянка Изиды, теперь был до безумия очарован белолицей и золотистоголовой троянкой. Он готов был не отходить от нее, ловил каждый ее взгляд, жадно любовался ее плавными, грациозными движениями и восхищался нежной мелодией ее голоса. Он уже мечтал, что если сбудется то, что он задумал с матерью, то Лаодика будет сидеть с ним рядом на престоле Аммона-Горуса, украшенная двойным венцом и змеем-уреусом.

Красавица и любимица матери, юная Снат-Нитокрис, точно так же смотрела на задумчивую и грустную троянку, как на божество. Ничего подобного, ничего прелестнее Лаодики она не видала в жизни. Вся страсть пробудившейся в ней женщины обратилась на Лаодику: она полюбила ее первой любовью пламенной дочери знойного африканского юга. Она теперь первая подбежала к ней.

— Лаодика! Милая Лаодика! Дай мне поцеловать тебя! — говорила она, ласкаясь к троянке.

— Я тебя сегодня не целовала... Я всю ночь видела тебя во сне: мы с тобой рвали на берегу Нила цветы лотоса, и сама богиня Гатор, в виде белой голубки, принесла тебе лучший цветок. Ах, я забыла, как у вас называется богиня Гатор, — болтала Нитокрис, не давая никому сказать слова.

— У нас она называется Афродита, милая Снат, — отвечала Лаодика.

— А Горус?

— Горус — Феб, солнце.

Юные принцы и принцессы окружили Лаодику, и все старались наперерыв заговорить с ней, приласкать ее. Она стала какой-то игрушкой в семье фараона. Ее хватили за руки, с любовью гладили ее шелковые волосы, заглядывали в глаза.

Более взрослые юноши из сыновей Рамзеса выражали свой восторг сдержаннее, но все же видимо любовались ею. Особенно пленила она сердце молодого Меритума, который уже

считался великим жрецом солнца в Гелиополисе, хотя этому юному жрецу предстояло еще много учиться жреческой мудрости. Он уже ревновал Лаодику к старшему своему брату, к принцу Пентауру, любимцу матери-царицы, и в сердце его уже закрадывалось недоброе чувство по отношению к сопернику, тем более что он не мог тягаться со старшим братом, который был вдвое старше его: на Меритума все еще смотрели как на мальчика, да и локон юности, висевший у него на смуглой щеке, обнаруживал его предательский возраст.

— Когда же тебя повезут, наконец, в Уакот (Гелиополис) учиться быть жрецом? — высокомерно спросил его Пентаур, заметивший бросаемые Меритумом на Лаодику страстные взгляды.

Меритум вспыхнул, он почувствовал оскорбление.

— Когда? — вызывающе посмотрел он на брата. — А тогда, когда ты все наши житницы наполнишь дуррой и полбой.

Это был оскорбительный намек на то, что Рамзес не взял с собой Пентаура в поход против неприятеля, а приказал ему наблюдать за поступлением податей в казну фараона.

— Этого тебе пришлось бы долго ждать, — сердито сказал Пентаур, — до того времени твой локон юности успеет посесть.

Это значило, что — «ты еще молокосос — нечего тебе заглядываться на троянку».

Женское чутье подсказало Лаодике, из-за чего горячатся братья, и она подарила Меритума ласковым взглядом, от которого юноша вспыхнул еще больше, но вспыхнул уже краской счастья. Лаодике стало жаль его, между тем как грубость Пентаура возмущала ее кроткое сердце.

И Нитокрис со своей стороны оказалась союзницей младшего брата, Меритума: юная египтянка тоже уловила женским чутьем причину ссоры между братьями и приняла сторону младшего, потому что и она ревновала Лаодику к грубому гиппопотаму, как она в душе называла иногда Пентаура.

Зато мать-царица осталась верна своему любимцу.

— Вы бы, дети, пошли играть хоть «в крокодила», — сказала она юной ватаге, — и ты, Меритум, иди с ними.

— Я уже вырос из этой игры! — гордо отвечал великий жрец солнца. — Я жрец бога Горуса!

— Но ведь ты еще не вырос из локона юности, мальчик, — заметила Тиа.

— Ах, мама! Все же он большой, — заступилась за брата своенравная Нитокрис, — ему уж пора охотиться на львов, а не играть «в крокодила».

— Нет, мама, мы будем играть не «в крокодила», а в войну, — залепетала самая младшая дочка Рамзеса, Гатор, — мы будем играть в египтян и в презренных либу. Знаешь, мама, меня богиня Изида уже сделала мальчиком-египтянином.

Эта удивительная новость всех рассмешила, и даже Лаодика не могла удержаться от смеха: так наивно все это было сказано.

В это время одна из рабынь доложила царице, что ее желает видеть господин женского дома, Бокакамон, — и Тиа воротилась во дворец.

XIV. «Я ВОССТАНОВЛЮ ТРОЯНСКОЕ ЦАРСТВО»

— Верь мне, прекрасная дочь Приама, что я возвращу тебе потерянную Трою, я сам с тобою буду на твоей родине, восстановлю троянское царство и отомщу всем врагам твоего отца, — говорил Пентаур, продолжая, по-видимому, прерванный с приходом в сад разговор.

Сын Рамзеса, увлеченный красотой Лаодики, задумал обширный план — план покорения Финикии, Фригии, Киликии, Пафлагонии и всех стран, лежавших на восточном берегу Великих зеленых вод (Средиземное море) вплоть до Трои и Дарданоса — царства Анхиза и сына его Энея.

В этом молодом льве Африки давно пробудились инстинкты его великого прадеда, Рамзеса II-Сезостриса, и, поддерживаемый любовью честолюбивой матери, а с другой стороны, возбуждаемый явной нелюбовью к нему отца, — он обдумывал в душе рискованное дело, сущность которого он не мог, конечно, доверить юной Лаодике, а потому говорил ей общими местами.

— Ты видела в Рамессеуме, в доме моего прадеда Рамзеса II, изображение четырнадцати царей, которых победил он? — спросил Пентаур, когда они удалились в глубь сада.

— Да, мне показывал их Бокакамон, — отвечала Лаодика.

— Только я не буду воевать ни землю Куш, ни землю Либу; я пойду на север; часть моих войск будет следовать берегом Великих зеленых вод, чтобы покорить Финикию, Идумею, Амморию и Фригию до твоей родины, а другая часть воинов пойдет морем прямо до Трои и Дарданоса, чтоб оттуда идти на врагов твоего отца, — с воодушевлением продолжал Пентаур. — Я уже говорил сегодня с великим жрецом богини Сохет, который знает Трою и все тамошние страны.

Лаодика была поражена последними словами царевича.

— Как! Неужели здесь есть кто-нибудь, кто бывал в Трое? — невольно вырвалось у нее.

— Есть, милая Лаодика, это — Ири, верховный жрец богини Сохет. Он был в Трое.

— Давно? — спросила Лаодика, вся взволнованная.

— Больше десяти лет тому назад.

— Значит, до осады данаями нашего милого города?

— Вероятно, до осады: он был у твоего отца послом от моего деда, фараона Сетнахта-Миамуна.

— О боги! Как бы я хотела видеть этого человека.

— Ты его увидишь, милая девушка. Он помнит твоего отца, твоих братьев и сестер и, вероятно, видел тебя маленькой на руках у твоей доброй Херсе.

За это одно известие она готова была полюбить Пентаура, как он ни был для нее несимпатичным по многим причинам, а главное — потому, что он добивался ее взаимности, когда все помыслы ее принадлежали одному, которого она, казалось, навеки потеряла.

И неужели этот Пентаур исполнит свое обещание? Неужели она опять увидит родные места — берег родного моря, знакомые горы, рощи и на горизонте — острова, которые она видела в

детстве? Кого найдет она там в живых? Не найдет только Энея! Он далеко, далеко где-то, в земле италов.

— Да, я отомщу врагам твоего отца, твоим врагам! — увлекаясь собственной мыслью, говорил сын Рамзеса III. — Я в цепях приведу в Фивы всех царьков, о которых ты говорила моей матери-царице — Агамемнона, Ахилла, Одиссея, Нестора, Аяксов, Неоптолема, Ореста! Я помещу изображения их рядом с изображениями царей земли Куш, Либу, Цита и других, которых ты видела в Рамессеуме.

Лаодика невольно поддавалась честолюбивым мечтаниям своего собеседника. Вера его в свои силы влиwała и в ее юную душу уверенность.

— А ты знаешь, благородный царевич, где земля италов? — робко спросила она.

— А на что тебе, милая Лаодика? — в свою очередь спросил Пентаур.

Лаодика несколько замялась: не могла же она выдать ему своих чувств, которые глубоко хоронила в своем сердце.

— Туда, в землю италов, после разорения Трои, отплыл лучший друг моего отца, Анхиз, престарелый царь Дарданоса, — отвечала покрасневшая девушка, умолчавшая об Энее.

— Этой земли, милая Лаодика, я не знаю, — сказал Пентаур, — но я спрошу у Ири, он исполнен всевозможных знаний.

Лаодика немного помолчала. Ее, видимо, подмывало еще что-то спросить. Наконец она решилась.

— А в городе Карфаго ты бывал, царевич? — спросила она.

— Это где царствует женщина?

— Да, Дидона.

— Знаю. Я там был в третьем году с победоносными воинами моего покойного деда, фараона Сетнахта-Миамуна, — жизнь, здоровье и счастье да будут ему вечным уделом в подземном мире!

— И видел царицу Дидону?

— Видел, прекрасная дочь Приама; царица Дидона поверглась в прах, принося дань моему деду и прося пощадить ее жизнь, так как она была союзницей презренных либу.

— Она, говорят, прекрасна, как Афродита-Гатор, — с дрожью в голосе сказала Лаодика.

— Кто так говорит, тот не имеет глаз, — сказал Пентаур.

Этот лаконический ответ был по душе Лаодике, но она умолчала о том, что слышала от Адиромы, о том, что из любви к Энею Дидона сожгла себя на костре.

— Отец, вероятно, пройдет с войском и до Карфаго, чтоб получить вновь дань от Дидоны, — прибавил Пентаур.

Как ни заманчивы, однако, были обещания Пентаура — восстановить царство Илиона, отомстить всем врагам Трои и дать Лаодике возможность воротиться на родину, как ни самоуверенны были речи об этом наследника египетского престола, — только Лаодике казалось все это едва ли возможным. Для нее непонятно было многое из того, что вокруг нее происходило. Чужилось присутствие какой-то тайны во дворце фараона, собственно на

женской половине двора Рамзеса, и во главе этой тайны, по-видимому, стояли сама царица Тиа и ее любимец Пентаур. Что-то похоже было на заговор, и притом против самого фараона, все еще находившегося в отсутствии. Это сквозило из намеков, из недосказанных речей. Часто упоминались имена Бокакамона, Пенхи, какой-то девочки Хену, верховного жреца богини Сохет и многих других: о них говорилось как о «недовольных» кем-то, как о «своих». Упоминались еще какие-то «восковые изображения». Что все это значило?

Лаодика верила после всего того, что она видела в Египте, что этот всемогущий Египет со своими фараонами может восстановить Трои, что он в силах уничтожить всех врагов Илиона, что силы этих Агамемнонов, Ахиллов, Аяксов ничтожны перед силами одного фараона; но захочет ли этого сам Рамзес, которого Лаодика представляла себе каким-то страшным крокодилком?

Лаодика, слушая своего собеседника, не решалась, не смела задавать ему прямых вопросов. Она могла остановиться на единственной мысли: если боги были так милостивы к ней, к ничтожной единице священного Илиона, то отчего милость их не может снова излиться на всю бедную Трои? И отчего оружием этой милости не избрать всемогущих фараонов?

— Но захочет ли его святейшество, великий Рамзес, помочь бедной Трое? — проговорила как бы про себя Лаодика.

Пентаур сделал энергичное движение.

— Не захочет! Боги повелят, и будет исполнено, — сказал он загадочно.

В это время из-за ствола ближайшей пальмы выступила молодая, красивая женщина. Глаза ее с каким-то особенным блеском остановились на Лаодике.

— Ты что, Атала? — недовольным голосом спросил Пентаур.

— Я пришла сказать господину, что царский кобчик, бросив одну добычу, устремился за другой, я боюсь, что стрела охотника поразит жадного кобчика, — таинственно отвечала молодая женщина.

— Скорее кобчик поразит охотника, — гордо сказал Пентаур.

Молодая женщина что-то пробормотала и удалилась. Лаодике показалось, что она сказала какую-то угрозу, да и красивые глаза ее смотрели недружелюбно. Сердце или инстинкт подсказали юной троянке, что она должна остерегаться этой красивой египтянки.

— Кто эта женщина? — невольно спросила Лаодика.

— Это одна из девушек дома царицы, — неохотно отвечал Пентаур.

— А о каком кобчике и каком охотнике говорила она?

— Смысл этих слов дочь Приама узнает после, — был неопределенный ответ.

Из него Лаодика поняла только, что в женском доме и при дворе Рамзеса затевается что-то неладное.

Атала была дочь начальника гарнизона в Фивах, Таинахтты, и состояла при женском доме Рамзеса в качестве почетной девицы — нечто вроде современной фрейлины. Она отличалась от прочих почетных девиц женского дома красотой и всеми, если можно так сказать, африканскими качествами — огненным темпераментом, подвижностью молодого тигренка и резвостью. Эти качества очаровали сердце наследника престола, и Пентаур перед всеми оказывал ей предпочтение, которое и перешло в бурную страсть. Ему отвечали тем же.

Но с тех пор, как при дворе Тии появилась Лаодика, Пентаур видимо охладел к своей страсти, и Атала уже не Раз втайне изливала слезы перед изображением богини Гатор в виде иносказательной жалобы, что «сердце ее осиротело, а постель ее не согревается солнцем ее души». На беду Пентаура, Атала была посвящена в тайну придворного заговора, потому что это был преимущественно «женский заговор».

Впрочем, Пентаур вполне надеялся на свои силы, а главное — на союз некоторых влиятельных жрецов, которые всегда были всесильны в Египте, до того всесильны, что все фараоны заискивали перед ними, осыпая их богатствами под видом жертвоприношений божествам. На стороне Тии и Пентаура находились такие жрецы, как Аммон-Мерибаст, верховный жрец Аммона-Горуса, Ири, верховный жрец богини Сохет, и Имери, верховный жрец светоносного Хормаху.

В это время стремительно, как вихрь, подбежала к Лаодике хорошенькая Нитокрис.

— Ах, милая Лаодика! — заторопилась она. — Ветер твоего севера шепнул мне в ухо хорошую новость для тебя.

— Какую, милая Снат? — удивилась Лаодика.

— А что ты мне дашь, если я тебе скажу?

— У меня, милая, ничего нет, что бы дать тебе, у меня есть только сердце, которое я уже отдала тебе с первого дня, как узнала тебя.

— Нет, Лаодика, еще есть что-то у тебя.

— Что же? Я не знаю.

— А твои губы, дай мне их.

— Возьми.

Плутовка не заставила себя просить: она жарко прильнула своими горячими губами к губам Лаодики.

— Ах, как сладко! Теперь скажу: вчера в Фивы приехал кто-то, кто носил тебя на руках.

Эти слова удивили Лаодику и встревожили: в несчастье люди всегда ожидают скорее дурных вестей, чем хороших.

— Кто же, дорогая Снат? Меня Херсе носила на руках.

— Нет, это мужчина. — И плутовка коварно посмотрела на своего брата: она хотела мстить ему хоть чем-нибудь за то, что он отнимает у нее Лаодику.

— Кто же? — снова недоумевала последняя.

— Сын старого Пенхи, Адиромы из Трои! — почти крикнула шалунья.

— Да? Я очень рада... Боги наградили его свободой за то, что он добрый, — серьезно сказала Лаодика, у которой в душе при одном имени Адиромы шевельнулось и встало все прошлое, далекое, невозвратимое, встало, как живое.

Но тут же она вспомнила своего господина, Абану. сына Аамеса, у которого ее похитил Адиромы с помощью того старого, доброго жреца, которого и имени она не знала.

Неужели Абана не разыскивает ее? А если узнает, где она?

XV. ОТВЕРГНУТАЯ НИЛОМ ЖЕРТВА

Между тем в Фивах распространился слух, что фараон возвращается с войском из похода. Возвращение это было неожиданно. Говорили, что в походе на север, после поражения войск Цамара и Цаутмара, опасно заболела старшая и любимейшая дочь Рамзеса, прекрасная Нофрура.

Это было действительно так. В один из переходов по знойной степи Ливии Нофрура почувствовала сильные недомогания. К ночи она лежала уже в жару. Тотчас же призваны были находившиеся при войске врачи и искуснейшие «хир-сешта» — «учители таинственных наук», которые и приступили к лечению юной царевны. По совету их, один из находившихся при войске жрецов Изиды обвязал пылавшую голову больной намоченной в священной воде лентой от покрывала Изиды, произнося заклинание: «Свяжу я злой недуг семью узлами бога Шу, сына великого Ра; я свяжу его силу, его дела, его злобу страшными узлами мрачной ночью, пока не глянет на землю светлый лик великого Горуса».

Больная металась на постели и умоляла, чтоб ее бросили в Нил: видно было, что внутренний жар пожирал ее, и оттого ей казалось, что прохладные воды Нила исцелили бы ее.

Отец и сестры не отходили от больной. Рамзес, который без содрогания видел вокруг себя тысячи смертей, которому доставляло несказанное наслаждение смотреть на горы отрезанных у неприятелей рук и других членов, возвышавшиеся у его походной палатки, этот железный человек при виде страданий своей любимицы плакал, как ребенок.

— Это презренные либу наслали на нее огневой недуг, — шептал он, чувствуя свое бессилие.

К утру жар у больной несколько уменьшился, и Рамзес решился немедленно возвратиться в Фивы под покровительство своих богов и их служителей.

Больную царевну уложили в покойную колесницу, запряженную восьмью мулами. Нофрура лежала в колеснице с богатым тентом из белого финикийского виссона, законного золотом, а четыре рабыни, находившиеся с ней в колеснице, беспрестанно махали над больной опахалами из страусовых перьев. Сам Рамзес, его сыновья, дочери и Изида-хеттеянка следовали за колесницей больной в своих походных колесницах. Не слышно было ни военной музыки, ни воинственных возгласов, потому что войска фараона со своими военачальниками и тысячами пленных двигались поодаль от царского кортежа.

— Сестра недаром просила бросить ее в Нил, — говорила вторая дочь фараона, стройная и большеглазая Ташера, сидя в своей колеснице рядом с Изидой.

— А что, милая Ида-Ташера? — спросила последняя.

— Это ей, конечно, боги внушили, — заметила третья дочь Рамзеса, Аида.

— Что же они ей внушили? — недоумевала хеттеянка.

— Боги внушили ей, что Нил требует жертвы, чтоб исцелить больную, — отвечала Аида.

— Какой жертвы? — снова спросила Изида.

— Человеческой. А разве ваша священная река не требует жертв? У вас река какая священная, в вашей стране? — спросила Ташера.

— У нас священная река Иордан, — отвечала хеттеянка, — когда наши предки с пророком Монсеем и Иисусом Навином возвращались из Египта, то Иордан сам расступился перед израильским народом. Но наш Иордан меньше Нила. Только я не знаю, у нас, кажется, не приносят в жертву Иордану, а только одному Иегове, и то не человеческие жертвы, а только овнов и тельцов.

— А у нас и Нилу приносят, — сказала Аида.

— Каким же образом? — спросила хеттеянка.

— Жертву Нилу приносят по указанию священного бога Аписа: на какую девочку он укажет, ту отдают Нилу.

— Как же? Ее топят в Ниле?

— Нет, бросают ему в объятия.

На четвертый день наконец показались и Фивы, и Нил.

Больной не было легче. Печальный кортеж тихо приближался к роскошной столице фараонов. Гонцы Рамзеса давно принесли печальную весть о болезни царевны и о возвращении фараона. Население Фив было извещено об этом через мацаев, которые строго наказывали жителям столицы соблюдать тишину при вступлении в город печальной процессии под опасением жестокой смертной казни.

Возвращение Рамзеса с дочерью, пораженной тяжким недугом, встречено было всеми жрецами Фив. Оки вышли за северные ворота с изображениями богов, которых несли в золотых ладьях. К небу поднимались целые облака курений.

Вышла и Тиа навстречу больной дочери. По-видимому, Ноффура не узнала матери. В горячечном бреду она бормотала невнятные слова... «Все руки, руки... кровь засохла...»

В тот же день во дворец фараона созваны были главные верховные жрецы всех богов Египта и главные «хир-сешта», мудрецы египетской земли: «учители таинственных наук», «учители тайн неба», «учители тайн земли», «учители тайн бездны», «тайн глубины» и «учители таинственных слов». На общем совете положено было принести жертвы для умилостивления богов и в то же время принести «живую жертву» Нилу.

На следующее утро и совершился самый обряд выбора этой «живой жертвы». Процесс выбора совершился следующим образом.

Едва первые лучи солнца, поднявшегося за холмами восточного берега Нила, позолотили вершины Ливийского хребта, от храма Аммона-Горуса двинулась процессия жрецов. Служители этого бога несли его изображение — Горус с головой кобчика — на золотой ладье. У ног божества помещались золотые изображения царей Нила — крокодила и гиппопотама. Процессия, под дикое завывание медных труб, двигалась к священной реке.

В тот момент, когда шествие достигло колоссов Аменхотепа (колоссы Мемнона), солнечные лучи озарили головы этих гигантов, которые под влиянием этих лучей издали протяжный, как бы жалобный стон.

Печальное завывание труб всполошило население города. Все спешили взглянуть на процессию, хотя никто не знал, что она означала и по какому поводу предпринята. Догадывались только, что процессия имеет что-то общее с болезнью старшей дочери фараона, о чем слух со вчерашнего дня наполнял все Фивы.

Впереди процессии шел верховный жрец Аммон-Мерибаст, куря перед божеством

благовоения священной земли Пунт и зорко поглядывая на прибывавшую толпу.

— Первый дар божества, — вдруг сказал он, указывая на смуглую хорошенькую девочку лет одиннадцати-двенадцати, которая со свойственным ее возрасту любопытством смотрела на процессию своими блестящими глазками, Держась за руку взрослой девушки, вероятно своей сестры, несколько выступившей из толпы.

Вслед за тем выступавшие рядом с Аммоном-Мерибастом два жреца подошли к этой девочке.

— Дитя! — сказал один из них, взяв ее за руку и ласково глядя по головке, — иди, тебя призывает бог.

Девочка смутилась и не знала, что ей делать.

— Иди, дитя, не бойся, — повторил жрец.

— Иди же, Ина, — подсказала взрослая девушка, — так надо.

Девочка повиновалась и последовала за жрецами. Ее подвели к Аммону-Мерибасту. Верховный жрец взял один из цветков лотоса, находившихся в золотой ладье Горуса, и подал его девочке.

— Светоносный Горус благословляет тебя, дитя, -
сказал он, — иди со мною.

Процессия двинулась дальше. Девочка, и испуганная и обрадованная, пошла рядом с верховным жрецом, поглядывая то на толпу, то на цветок лотоса.

— Второй дар божества, — снова произнес Аммон-Мерибаст, указывая на толпу, где виднелась другая девочка одного возраста с первой.

Жрецы подошли и к этой. Девочка хотела было убежать, но ее кто-то придержал сзади.

— Не бойся, дурочка, тебе ничего не будет! Видишь, вон той девочке дали священный цветок, и тебе дадут.

— Да, да, милое дитя, — подтвердил жрец.

И эта девочка позволила себя увести. И ей верховный жрец подал цветок лотоса. В толпе зрителей чаще стали показываться такие же девочки; их, видимо, привлекало любопытство, а также зависть: всем хотелось играть роль в торжественной процессии, получить цветок лотоса и обращать на себя всеобщее внимание. Этот возраст едва ли не тщеславнее взрослых, по крайней мере наивнее и искреннее, и во всяком случае правдивее.

— Третий дар божества, — продолжал между тем провозглашать верховный жрец.

Взяли и третью девочку, которая с детской гордостью посматривала на толпу.

Трубы между тем продолжали завывать: зловещая мелодия их покрывала смешанный гул от сдержанного говора зрителей.

— Четвертый дар божества.

Последние слова относились к нашей знакомой Хену, дочери Адиромы и внучке Пенхи, которая с жадным любопытством протискалась сквозь толпу, сверкая своими оживленными глазками и всем своим прелестным личиком.

— Пятый дар божества.

Хену, торжествующая и гордая, тоже присоединилась к процессии, держа в руке цветок лотоса.

— Шестой дар божества. Седьмой и последний дар божества.

Но в этот момент в толпе произошло смятение. Какая-то женщина протискивалась сквозь сплошные массы зрителей, с ужасом повторяя: «О, моя Ай, моя маленькая Ай! О боги!»

Ей удалось протиснуться сквозь толпу, которая с удивлением расступилась перед ней. С отчаянием на лице она бросилась было к девочкам, выступавшим в процессии с цветками лотоса, но, по знаку верховного жреца, мацаи удержали ее. Это была еще молодая египтянка. Она силилась вырваться из рук державших ее мацаи.

— О! Отдайте мне мою девочку! Отдайте! О боги! О, всемогущий Горус! — вопила несчастная.

Одна из девочек с лотосом рванулась было к ней, но жрецы удержали ее.

XVI. ИСПУГАННЫЙ БОГ АПИС

Человеческие жертвоприношения Нилу совершались очень редко, да и то в исключительных только, в необыкновенных случаях, когда Египет посещало какое-либо страшное бедствие, как, например, всеобщий голод, когда, вследствие неизвестных причин, скрывающихся в каких-либо неведомых атмосферических явлениях где-то там, далеко на юге, под экватором, у истоков Нила, эта священная многоводная река не совершала своего обычного периодического развития и страну постигал неурожай. Тогда только Нилу, этому живому и все оплодотворяющему богу, приносились человеческие жертвы для умиловления всемогущего божества. Но это случалось, может быть, раз в одно или два столетия, и потому последующие поколения египтян забывали об этом и редко кто знал о существовании страшного и внушительного по своей обстановке обряда приношения «живой жертвы» Нилу. Знали об этом, конечно, только жрецы.

Теперь настал для Египта такой исключительный случай. Это не был всеобщий голод — Нил в этом году разливался с обычным многоводием. Напоенная им земля дала стране Фараонов обильную жатву. Великое бедствие постигло не Египет, но лично самого фараона: его любимая дочь Нофрура лежала на смертном одре. Для спасения ее решились прибегнуть к последнему, страшному испытанию — принести Нилу «живую жертву».

Для этого жрецы, не оповещая заблаговременно население Фив о принятом решении, чтобы не навести страх на египтянок-матерей, неожиданно устроили торжественную процессию шествия Горуса к Нилу. Во время шествия жрецам предстояло взять семь невинных девочек, каких первыми встретит Горус на своем пути к священной реке: это — указание самого божества, его дары. Из этих семи жертв жребий должен был пасть на одну, избранную самим Аписом.

Итак, семь чистых девственниц взяты, и с цветками лотоса с руках сопровождают шествие божества. Но в толпе зрителей никто не знает, что ожидает их. Узнала случайно одна египтянка: ее маленькая дочь Ай, тайно прижитая от одного из жрецов бога Аписа, случайно, по недосмотру матери, выбежала взглянуть на процессию Горуса и была взята в число семи жертв. Мать знала, чем должна была кончиться процессия, и потому, увидав, что ее девочка

убежала из дому, бросилась за ней, но было уже поздно. Маленькая Ай шла в процессии с цветком лотоса в руке. — Отдайте мне мою девочку! — кричала несчастная мать, но мацаи, предупрежденные жрецами, схватили ее и, зажав рот, увели подалее от процессии, где и заперли в доме заключения.

Скоро процессия приблизилась к берегу Нила. Там ее ожидали другие толпы народа, привлеченные к священной реке таинственными приготовлениями. С раннего утра из храма Аписа, с помощью нескольких десятков рабов этого храма, привезена была и спущена на воду большая лодка с позолоченным возвышением на носовой части, украшенная разноцветными яркими флагами и лентами, убранная пальмовыми ветками и цветками лотоса. Спуском на воду этой священной лодки распоряжались жрецы Аписа; у некоторых из них в руках были небольшие снопы свежей, зеленой, только что выколосившейся пшеницы.

Жрецы Аписа встретили процессию Горуса пением священного гимна. Процессия остановилась. Тогда верховный жрец Аммон-Мерибаст роздал каждой из семи девочек по снопу пшеницы, бывшей в руках жрецов Аписа, и поставил их в ряд лицом к западу, так что Нил находился у них позади.

В это время невдалеке раздалась другая музыка, еще более, казалось, дикая и раздирательная. Толпы зрителей колыхнулись.

— Апис! Апис! — послышались испуганные и радостные возгласы. — Сам бог идет.

Это двигалась к Нилу от храма Аписа другая процессия. Между рядами жрецов, которые махали в воздухе опахалами, шел Апис. Ему предшествовал главный жрец, возжигавший перед четвероногим божеством курения из благовоний священной земли Пунт. Бык шел, по-видимому, беспокойно: расширенными ноздрями он усиленно вдыхал в себя воздух, который теперь казался особенно знойным и душным, как перед грозой. Поравнявшись с изображением Горуса, который в своей золотой ладье покоился на плечах жрецов, Апис остановился, как бы ища чего-то. Глаза его упали на пучки зеленой пшеницы, и бык, радостно замычав, двинулся прямо к лакомому корму: он был голоден, потому что его мучители, жрецы, со вчерашнего дня морили свое кроткое и глупое божество голодом.

Апис направился прямо к стоявшим рядом семи девочкам с пучками сочной пшеницы. Девочки невольно дрогнули и попятились.

— Не бойтесь, священные дети, — громко сказал верховный жрец, — бог к вам милостив.

Случилось так, что храбрая Хену, когда другие девочки со страху попятились, очутилась несколько впереди прочих. Апис шел прямо на нее.

— Избранница, счастливая избранница! — послышался говор среди жрецов.

Хену стояла неподвижно, хотя видимо руки ее дрожали, а на миловидном личике отразился испуг, хотя она и старалась его скрыть.

Подойдя к ней, Апис с видимым наслаждением стал жевать сочные колосья.

— Бог сподобил избранницу! — громко возгласил верховный жрец. — На нее пал выбор божества. Слава всемогущему Апису.

— Слава! Слава! Слава! — повторили хором жрецы.

— Слава! Слава! — подхватила бессмысленная толпа. Апис между тем ел жадно, и скоро от небольшого пучка, бывшего в руках Хену, не осталось ничего.

— Готовьте жертву! — обратился Аммон-Мерибаст к Другим жрецам.

Некоторые из них подошли к Хену, держа в руках разноцветные ленты и золотые обручи, а священное животное, покончив с одним пучком пшеницы, обратилось к другим девочкам и продолжило утолять свой голод. Девочки сделались смелее и сами совали в морду богу лакомое кушанье.

Хену между тем украсили лентами и золотыми обручами, Аммон-Мерибаст вылил на ее курчавую головку несколько капель благовония. Девочка, казалось, светилась удовольствием и гордостью. Толпа напряженно следила за всем, что происходило перед ее глазами. Слышались возгласы, вопросы, наивные замечания.

Аммон-Мерибаст подал знак, и воздух огласился дикими звуками труб и соединенными хорами жрецов. Пели торжественный гимн Горусу.

Между тем с востока, из-за Нила, приближалась гроза. Синее, как лазурь, небо до половины затянулось черной, зловещей тучей. Послышались глухие, далекие раскаты грома, и Нил принял зловещий вид.

Верховный жрец взял Хену за руку и повел к лодке, стоявшей у берега с гребцами, которые держали весла наготове. Девочка не понимала, что с ней делали, но уже, видимо, начинала чего-то бояться. Трубная музыка и хор жрецов завывали все громче и неистовее.

Верховный жрец, вступив на лодку, провел свою невинную жертву на позолоченное возвышение в носовой части и поставил ее у самого края помоста.

Лодка отчалила от берега и, отплывая несколько сажен к середине реки, повернулась носом к зрителям, любопытство которых, смешанное с невольным страхом, достигло крайнего напряжения.

Зрелище было странное, пугающее воображение. Многие начали догадываться, в чем дело.

А Хену, вся убранная цветными лентами и золотыми обручами, и высокий жрец в белом одеянии, стоявший с ней рядом и державший ее за руку, казались издали каким-то видением, чем-то фантастическим. Все напряженно и испуганно глядели туда, на это видение.

Жрец поднял к небу руки — и вдруг в воздухе мелькнуло что-то...

В толпе послышался крик ужаса... На золоченом возвышении священной лодки высилась одна только фигура жреца... На поверхности Нила мелькнули яркие ленты — и исчезли под водой...

— Он толкнул ее в Нил!... Он утопил ее!...

Но в этот же момент что-то сверкнуло в воздухе. Раздался страшный, какой-то металлический треск, от которого и земля, и Нил дрогнули. Это была молния, упавшая с неба на Фивы: привлеченная металлическим изображением Горуса и его ладьей, она, казалось, на секунду остановилась на них — и в одно мгновение золотой бог расплавился от небесного огня... И ладья Горуса, и поддерживавшие ее жрецы упали на землю...

Все замерло в ужасе...

Апис, оглушенный ударом грома, обратился в бегство, подняв кверху свой священный хвост и спеша спастись в своем храме — в стойле...

Все бросились бежать, крича и толкаясь...

Мокрая голова Хену показалась над водой. К ней кто-то плыл на помощь: это бы ее отец, Адирома.

— Боги не приняли жертвы, — весь бледный и растерянный, сказал верховный жрец, поднимая руку к нему. — О всемогущий, гневный Аммон-Ра! Ты поразил своего сына, Горуса... Горе, горе нам!

XVII. ПОХОРОНЫ ДОЧЕРИ ФАРАОНА

Нофрура не перенесла тяжкого недуга — на девятый день она скончалась. Ни все боги Египта, ни могущество и богатство фараона — ничто не спасло его любимой дочери от смерти.

Естественная смерть юной царевны, в силу простой случайности, казалась чем-то страшным, ужасающим: воображению египтян представлялось, что это не простая смерть, а какое-то роковое предзнаменование.

Да и в самом деле: для умиловления богов приносится небывалая почти в летописях страны жертва — и боги не принимают ее. Мало того, какая-то высшая сила посылает на землю небесный огонь, повергает в прах изображение Горуса, превращая его силой небесного огня в безобразную, бесформенную массу; жрецы и сам великий бог Апис поражены ужасом!

Нет, это не простая смерть — это какое-то страшное знамение, знамение гнева богов. Но на кого они излили свой гнев? На самого фараона! За что? За какие преступления?

Все Фивы в тревоге. Весть о страшном событии облетает весь Египет.

А юная покойница лежит на богатом смертном ложе, окруженная многочисленной семьей своей, братьями, сестрами. Смерть придала ее прекрасному лицу выражение глубокой, кроткой задумчивости и покорности воле богов. Теперь для семьи фараона и для всего его многочисленного двора наступили «дни плача» — семьдесят дней плача вплоть до самого погребения отошедшей на лоно Озириса юной царевны.

Еще не успело остыть тело умершей и первые слезы горя не успели высохнуть на щеках окружавшей ее семьи, как во дворец явился Аммон-Мерибаст с целым сонмом других жрецов и богатыми погребальными носилками из храма Озириса, чтоб взять новую жертву подземного мира и приготовить ее к переходу в этот таинственный мир. Надо было торопиться с началом бальзамирования, потому что после неожиданной грозы, разразившейся над Фивами в тот день, когда приносилась Нилу «живая жертва», настали вдруг дни знойного самума и тело умершей должно было быстро подвергнуться разложению.

Под пение погребальных гимнов, среди курений фимиама и общего плача, тело умершей, покрытое дорогим виссоном, было положено на носилки и, в сопровождении несметной толпы народа, под звуки печальной музыки, направилось к храму Озириса, где в особой лаборатории, обставленной глубочайшей тайной, совершалось обыкновенно бальзамирование умерших.

За печальными носилками шел сам Рамзес в траурном одеянии, без меча и без всяких украшений, с открытой головой, посыпанной пеплом с жертвенника Озириса, и с распущенными волосами в знак глубочайшей скорби. Его окружало все его многочисленное семейство. В ближайшей группе придворных жрецов, следовавших непосредственно за семьей фараона, шла Изиды-хеттеянка и Лаодика. Воздух оглашался рыданиями — все Фивы плакали! Это было что-то потрясающее.

Близ храма Озириса, вдоль широкой аллеи сфинксов расположены были войска. Военные музыканты и воины при приближении печального шествия огласили воздух трубными звуками и ударами копий о щиты в знак отдания последней чести усопшей перед вступлением ее в царство подземных сил.

У внутренних пилонов храма Озириса носилки с телом царевны были опущены на землю для последнего целования тела перед его «преображением», когда оно должно было превратиться в мумию с невидимым для смертных лицом.

Прощание было трогательное, раздирающее душу. Трудно было предположить, чтобы у сурового Рамзеса оказалось столько нежности и любви: с искаженным от душевного страдания и слез лицом, он страстно припадал к холодному лицу дочери, обливая его слезами, гладил и целовал голову, покрывал поцелуями руки. Более сдержанна в своей печали была мать умершей. Тиа нежно отерла лицо дочери, смоченное слезами фараона, и поцеловала ее в бледный лоб, и закрыла глаза.

Из сестер умершей больше всех плакала хорошенькая Снат-Нитокрис.

— О, милая сестра! Зачем я не пошла вместе с тобой в загробный мир, в прекрасную страну запада, в Ливийскую пустыню! Ты бы не скучала там одна... Но подожди — и я приду к тебе, милая сестра! — плакала Нитокрис, припадая к груди умершей.

Лаодика плакала тихо, молча: столько смертей проносилось в ее памяти, столько дорогих теней. Ее милые братья — Гектор, Полидор, Ликаон — все убиты ужасным Ахиллом... А где другие?... Где тот, дорогие черты которого она носит в своем осиротевшем сердце?

Наконец, все простились с умершей, и жрецы, подняв носилки, унесли мертвую царевну в очистительную палату, куда, кроме них, никто не смел вступать и откуда через семьдесят дней должна выйти прекрасная Нофрура в виде нетленной мумии, для погребения ее в семейном склепе фараона Рамзеса Третьего.

Фараон и все провожавшие умершую двинулись обратно. Теперь не слышно было ни музыки, ни потрясающих воздух ударов копий о щиты. Казалось, Фивы потеряли нечто большее, чем любимую дочь Рамзеса: так все казалось мертво кругом.

Приближаясь вместе со всеми ко дворцу, Лаодика нечаянно взглянула на стоявшую около первых пилонов толпу и вздрогнула: среди других знатных египтян, почтительно ожидавших прохода во дворец фараона и его семейства, она узнала своего господина, Абану. Ей стало страшно. Неужели он потребует ее к себе? А Пентаур? Неужели он отдаст ее?

Боясь встретиться с его взглядом, Лаодика быстро опустала глаза. Но ей оставалось неизвестным — видел ли ее Абана. Может быть, и нет. По крайней мере, когда она его нечаянно заметила, он смотрел не на нее, а на самого фараона.

С чувством тревоги Лаодика вместе со всей семьей Рамзеса вступила во дворец, где, ей казалось, она менее была подвержена опасности снова попасть в рабство к ненавистному сыну Аамеса.

С этого момента начались во дворце фараона «дни плача». Это был обрядовый плач: каждый день слышны были причитания женщин, с плачем восхвалявших красоту умершей царевны, ее доброту, ее набожность; в загробном мире ей обещалось блаженство, счастье, вечная жизнь.

В то же время, по повелению Рамзеса, придворные скульпторы, или, как они назывались, «скульпторы с жизни», т. е. живой природы, изготовляли богатый саркофаг для мумии Нофруры, украшенный резными изображениями самой царевны и выдающихся эпизодов ее

жизни: поход на колеснице в Ливию, битва ее с презренными либу, где Нофрура изображалась в военных доспехах, на боевой колеснице, рядом с колесницей отца, поражающая своим копьем неприятелей, и т. д.

Наконец прошли эти томительные семьдесят «дней плача»: все готово к погребению — и мумия, и саркофаг.

Снова собрались несметные толпы перед храмом Озириса, от которого в две линии растянуты были войска вплоть до самого озера Харона, или озера мертвых, через которое должна была переправиться мумия царевны в жилище вечного упокоения. Озеро Харона, или Ахерон, отделяло Фивы от «города мертвых», от великого фивского кладбища, находившегося у подошвы Ливийского хребта.

Рамзес вместе со своим семейством и высшие сановники страны у преддверия храма ожидали выноса мумии. Наконец распахнулась таинственная завеса храма, и жрецы, под заунывное пение хора, показали с носилками, на которых покоилась мумия Нофруры, обвитая драгоценными тканями. Золотая цепь со священным жуком украшала ее грудь.

При виде мумии воздух снова огласился рыданиями.

Шествие двинулось к озеру мертвых. Рамзес и теперь шел в траурном одеянии с распущенными волосами. За ним следовала его семья, высшие сановники и почти все население Фив.

Скоро блеснули воды Ахерона. Процессия остановилась. На берегу этого священного озера должен был происходить суд над умершей.

Носилки поставили на земле так, чтобы лицо мумии обращено было к озеру и к грозным изображениям судей подземного царства, которые возвышались на берегу Ахерона в виде огромных гранитных статуй. Далее, на воде, у самого берега виднелась лодка Харона.

Статуи изображали собой Истину и Правосудие. За ними утверждены были весы, на одной чашке которых изображены были добрые дела умершей в виде символа богини Правосудия, на другой — злые дела, в виде глиняного сосуда.

— А кто это около весов? — спросила Лаодика стоявшую около нее Нитокрис.

— Это божества — то, что с головой ястреба, — это Горус, а с головой шакала — это Анубис, — отвечала Нитокрис, утирая покрасневшие от слез глаза.

— А что они делают, милая Нитокрис?

— Они смотрят на стрелку весов, какая чашка перевесит — с добрыми делами или со злыми... Ах! Бедная сестра никому не делала зла! — еще сильнее расплакалась Нитокрис.

Действительно, едва верховный жрец Аммон-Мерибаст поднял к изображению Правосудия руки, как чашка весов с добрыми делами моментально опустилась.

В толпе пронесся радостный шепот: «Боги принимают ее! Озирис к ней милостив!»

Торжественный хор жрецов огласил воздух.

Скоро лодка Харона приняла мумию вместе с носильщиками-жрецами и отплыла к тому берегу озера мертвых.

XVIII. ЛАОДИКА ОТКРЫТА

Едва лодка с мумией царевны отчалила от берега, как верховный жрец, приблизившись к изображению Озириса, произнес краткую молитву: он благодарил этого всемогущего владыку подземного мира за правый и милостивый суд над умершей. Потом Аммон-Мерибаст, а с ним вместе Рамзес и вся его семья вошли в другую, более поместительную лодку, и отплыли вслед за лодкой с мумией Нофруры. Вместе с ними отплыла и Лаодика, которая принята была в семье Рамзеса как родная, потому что, несмотря на свою скорбь об умершей дочери, фараон заметил Лаодику, красота которой и печальная судьба тронули сердце повелителя Египта.

На том берегу Ахерона мумия Нофруры при мрачном пении жрецов была внесена в фамильный склеп Рамзеса и после трогательного прощания с родными положена была в богатый саркофаг и накрыта гранитной крышкой с высеченным на ней изображением усопшей.

Весь этот погребальный обряд произвел на Лаодику глубокое впечатление. Она вспомнила, как погребали ее брата Гектора, убитого Ахиллесом. О! Какое это было страшное погребение, какая страшная ночь, предшествовавшая последнему моменту! Всю ночь троянцы сооружали громадный костер из соснового леса, который рубили в соседних горах и свозили к Трое. Наутро костер был готов и на него возложили бездыханное тело ее брата. Как ярко вспыхнуло ужасное пламя, пожирая зеленые иглы сосен и дорогое тело Гектора! И скоро от милого тела остался только серый пепел с обгорелыми и перетлевшими костями, которые и собраны были в урну.

Где теперь эта урна с дорогим прахом? От нее, как и от всей Трои, не осталось, вероятно, и следа.

А здесь не то. Тело Нофруры осталось нетронутым и его не коснулось ужасное пламя.

Так думала Лаодика, возвращаясь с похорон дочери фараона. А между тем молодые мечты ее забегали вперед. Слова и обещания Пентаура глубоко запали в ее сердце, жаждущее того, что обещал сын фараона. Неужели для нее возможно возвращение на родину? Он ведь говорил так уверенно. Да отчего не исполниться этому? Она не могла не видеть, как велико могущество фараонов. Что значила маленькая Троя перед громадным, многолюдным Египтом! Она видела, сколько войск возвратилось из похода вместе с Рамзесом. Одни Фивы обширнее всего царства троянского. А Мемфис, а Цоан-Танис! А все эти города на берегах Нила! Если ее милая Троя и разрушена, уничтожена пламенем, то все же она желала бы взглянуть хоть на ее развалины, на священный пепел священного Илиона, на его небо, на море, омывавшее ее родную землю. А может быть, она и найдет там кого-либо из своих, кого пощадила смерть или стрела и меч данаев.

А земля италов? А милый образ того, кто ей дороже всего на свете?

Но когда же Пентаур исполнит свое обещание? Когда объявлен будет поход?

Вдруг она вздрогнула и невольно ухватилась за руку Нитокрис, с которой шла рядом.

— Что с тобой, милая Лаодика? — спросила юная дочь Рамзеса.

— Я так испугалась, милая Снат, — отвечала Лаодика, сжимая руку Нитокрис.

— Чего, милая?

— Его — моего господина.

— Какого господина? Твой господин — мой отец, фараон Рамзес.

— Мой бывший господин — Абана, что купил меня на рынке в Цоан-Танисе и от которого мы бежали вместе с Херсе. Я его увидела вон там, среди носителей опахала фараона.

— Чего ж тебе его бояться?

— Он узнал меня, он возьмет меня к себе, о боги!

— Он не посмеет взять! — гордо сказала юная дочь Рамзеса, — ты моя сестра.

— Да хранят тебя боги, милая Снат! — с чувством сказала Лаодика, пожимая руку Нитокрис, — у тебя доброе сердце, а доброе сердце — лучший дар богов.

— А покажи мне, где он? Видно его теперь? — спросила Нитокрис.

— Видно, но я боюсь взглянуть на него... Вон он — около седого воина в панцире.

— А! Это Таинахтта, вождь гарнизона, отец нашей Аталы — ты ее знаешь!

— Знаю, милая Снат... Я ее боюсь...

— Почему? — спросила Нитокрис.

— Не знаю. Она меня, кажется, не любит.

— О! Понимаю: она ревнует тебя к брату, к Пентауру. Да и я тебя к нему ревную, — наивно говорила хорошенькая царевна. — Так который же Абана?

— Тот, что с золотой цепью на груди и с тремя кольцами у предплечья.

— А! Какие злые у него глаза! Какой нехороший. Он что-то говорит Таинахтте и показывает сюда.

— Он показывает на меня.

— Ничего, не бойся.

— Милая Снат! Как же мне не бояться? Я так виновата перед ним.

— Чем, дорогая?

— А как же! Ведь я — воровка.

— Что ты! Как?

— Я ж бежала от него и увела с собой свою старушку Херсе. А ведь он нас купил, значит, я украдала у него цену двух Рабынь.

— А сколько он заплатил за вас?

— За меня десять «мна», а за Херсе пять «кити» с ребра [12].

— Пустяки, милая Лаодика, мы ему заплатим вдвое. Лаодика недаром опасалась: Абана действительно узнал ее сразу.

Когда, проснувшись утром на корабле «Восход в Мемфисе», он узнал, что за ночь исчезли и Лаодика, и старая Херсе, он пришел в ужасную ярость. Никто на корабле не мог сказать ему, что с ними случилось: никто не видел их бегства, потому что все спали. Рабы, которым

поручено было стеречь их, также ничего не могли сказать о беглянках, и на них обрушился весь гнев молодого египтянина. Несчастные рабы подверглись жестоким истязаниям, но и истязания их ни к чему не привели: они говорили только, что злые духи нагнали на них мертвый сон, и они ничего не слышали, что делалось ночью.

Естественно, что в исчезновении Лаодики Абана должен был подозревать Адирому, но последний отрицал свое участие в их бегстве, в противном случае он не оставил бы их одних, беззащитных женщин. Адироме, напротив, высказал предположение, что Лаодика и Херсе, не желая оставаться в рабстве, бросились в Нил и погибли в его волнах. Он считал это тем более правдоподобным, что гордая дочь троянского царя ни в каком случае не могла помириться с участью рабыни и сама прекратила свое горькое и унижительное существование: дочь Приама, богоравная Лаодика, не могла быть рабыней сына Аамеса!

И вдруг Абана видит ее среди дочерей фараона! — Она не утонула в Ниле — она бежала.

— Это она, клянусь Озирисом! — невольно воскликнул он.

— Кто она? — удивился стоявший около него Таинахтта, вождь гарнизона в Фивах.

— Моя рабыня, дочь троянского царя Приама.

— Где? Которая?

— Та, что идет рядом с царевной Снат. Я купил ее на рынке в Цоан-Танисе, и на дороге от Цоана, выше Мемфиса, она ночью бежала с корабля, воспользовавшись оплошностью моей стражи.

— Так это Лаодика? — в раздумье заметил Таинахтта. — Мне о ней много говорила дочь моя, Атала, которая состоит при женском доме его святейшества, фараона Рамзеса. Эта рыжеволосая троянка всем там головы вскружила; и неудивительно — она так прекрасна.

— Но она моя рабыня! — с негодованием сказал Абана, — она беглянка — я должен взять ее к себе как собственность.

— Ну! — заметил Таинахтта с улыбкой, — львы не уступают никому своей добычи.

— Но как она попала ко двору его святейшества?

— Ее представил ко двору Ири, верховный жрец богини Сохет.

Известие это еще более поразило Абану.

— Но откуда он ее достал? — спросил он.

— Ее прислал к нему Имери, верховный жрец великого бога Хормаху.

— А! Имери! — воскликнул сын Аамеса. — Теперь я понимаю: эта старая лиса...

— Не говори так о слугителе божества, сын Аамеса! — прервал его Таинахтта.

— Но он вор! Он похитил у меня рабыню! — горячился Абана. — Это он похитил ее с корабля «Восход в Мемфисе» и отправил к Ири. А где замешаны жрецы, там не жди добра. Я понимаю теперь, почему Имери, еще там, на корабле, узнав, кто такая эта рабыня, сказал: «Прелестное это дитя могло бы быть и женою царя».

— Что ж удивительного? — возразил Таинахтта, — она дочь славного царя, и боги судили ей быть царицей. Верховный жрец великого Хормаху, вероятно, и действовал по внушению богов.

Но эти доводы не убедили Абану. Подумав несколько, он спросил:

— А что говорит о ней твоя дочь, достойная Атала?

Вождь гарнизона пожал плечами.

— Разве женщина может говорить что-либо хорошее о женщине? — отвечал он. — Скорее крокодил пощадит свою жертву, чем женщина другую женщину, красоте которой она завидует.

Этот ответ, по-видимому, понравился Абане — это можно было прочесть у него в глазах. Он, видимо, что-то замышлял.

Но ни Лаодики, ни Нитокрис уже не было видно: Рамзес и его двор скрылись за пилонами дворца.

ХІХ. СМЕРТЬ ЛАОДИКИ

После похорон Нофруры прошло несколько дней. Над Фивами только что забрезжило утро. В саду при женском дворе фараона слышен чей-то говор.

— Посмотри, Неху, что я нашла.

— Что это? Меч? Да какой красивый!... Где ты его нашла, Арза?

— Вон там, я поливала цветы лотоса, и вдруг что-то блеснуло в земле. Я нагибаюсь и вижу что-то золотое. Я начинаю откапывать — и вытащила вот этот меч.

— Ах, Арза, милая! Да он в крови.

— И точно — в крови, и кровь свежая! Великая Изида!

Что ж это такое!

— Брось его, милая Арза! Забрось!

— Я боюсь...

Вдруг воздух огласился страшным, раздирающим душу криком какой-то женщины.

— О боги! Что это?

Арза, уронив на землю меч, и Неху (это были рабыни, поливавшие цветы в саду при женском доме Рамзеса) бросились по направлению крика, который исходил из помещения, занимаемого с недавнего времени Лаодикой. Это кричала старая Херсе, которая металась у входа помещения Лаодики и рвала на себе волосы.

— Ее убили! Ее зарезали! — кричала она. — О, вечные боги!

— Кого зарезали?

— О! Мое сокровище! Мое дитя! Мою госпожу! Херсе бросилась внутрь комнаты и, упав на пол, билась в судорогах.

На высоком позолоченном ложе, покрытом белыми тканями, лежала мертвая Лаодика: в

широко раскрытых глазах ее выражался ужас — это был ужас смерти, так нагло постигшей ее. Под левым сосцом ее чернелась продольная рана, кровь из которой окрасила белый покров ложа и стояла запекшейся лужей на полу.

Вопли Херсе разбудили все население женского дома. Все бежали к тому месту, откуда неслись эти вопли. На лицах видны были растерянность, испуг. Все толпились у входа в помещение Лаодики, и никто, по-видимому, ничего не понимал. Да и как понять! Ничего подобного никогда не случалось в царских покоях. Убита невинная девушка, любимица царицы, гордость женского дома, дочь славного царя Трои. Кто убил? Какой изверг мог решиться на такое злодеяние, когда ни один мужчина, исключая детей фараона, не смел переступить порог этого святилища, состоящего под покровительством богини Сохет?

Вопли Херсе достигли и покоев царицы.

— Что это? — спросила Тиа свою постельную рабыню. — Что случилось?

Испуганная рабыня не смела сказать страшной истины.

— Что же? — повторила жена фараона. — Говори!

— О святейшество! Я боюсь поразить твои уши страшными словами, — отвечала рабыня.

— Говори же! Я повелеваю! Мои уши раскрыты для доброго и злого, — говорила Тиа, сама встревоженная.

— О, госпожа! У нас в доме убийство.

— Убийство! Кто убит?

— Троянская царица Лаодика.

— О боги! Кто ее убийца?

— Не знаю, госпожа, никто не знает, — говорила рабыня, поспешно одевая царицу.

Тиа торопливо вышла в сад, куда выходило помещение Лаодики. Ей попалась навстречу вся заплаканная Нитокрис.

— О, мама! — вскричала юная царица. — Вот меч, он в крови.

— Какой меч, дитя?

— Я нашла его в саду на земле, — он в крови... Это кровь Лаодики... О, мама, мама!

Тиа с содроганием взглянула на меч. Это было изделие изящной работы: тонкий, длинный клинок с золотой рукояткой, изображавшей какое-то неведомое божество — женщину с львиной головой, стоящую на колеснице, запряженной двумя конями.

— Это не египетский меч, — сказала жена фараона, — в нашей земле нет таких.

Тиа взяла меч.

— Его надо сохранить, — сказала она, — меч укажет нам убийцу... О боги!

— Мама! Пойдем взглянем на нее, я одна боюсь, — говорила Нитокрис, вся обливаясь слезами.

У входа в помещение Лаодики толпились придворные женщины и рабыни, выражая

сожаление об ужасной смерти юной троянской царевны и общее недоумение — кто мог быть убийцей такого прелестного невинного существа, и притом в доме, охраняемой богиней Сохет.

Лаодика лежала на своем ложе, как мраморное изваяние.

Золотистые волосы ее, разметавшись, покрывали собой белую подушку из тонкого финикийского виссона. Около ее изголовья с глухим стоном причитала обезумевшая от горя Херсе, покачиваясь, словно автомат, из стороны в сторону.

— Я убила тебя, божество мое! Я достойна смерти, — хрипло причитала она, — я недоглядела, я заспала!

Завидев приближение Ти, все расступились. Говор и шепот смолкли. Слышны были только причитания старой Херсе.

— Не на своей милой родине нашла смерть ты, мое божество... Далеко от праха Гектора будет покоиться твое чистое тело... Слезы родных не оросят твоего прекрасного лица... О, всемогущие боги!

Весь запыхавшись, смущенный, растерянный торопился к месту ужасного происшествия Бокакамон, управляющий женским домом Рамзеса: в его доме, в доме его ведения, совершилось это страшное, неслыханное дело.

— О святейшество! — поднял он руки к небу при виде жены фараона, своей повелительницы.
— Какие немилосердные боги судили мне это несчастье!

— Вот меч, которым совершено злодеяние, — сказала Тиа, подавая меч пришедшему. — У этого железа есть язык — он назовет нам злодея. Допроси железо!

Рука Бокакамона дрожала, когда он брал протянутый к нему клинок с пятнами крови.

— Это меч не египетской работы, — с удивлением заметил он. — Как он попал сюда?

— Его сейчас подняла в саду Нитокрис, — отвечала Тиа. — Но как он попал в мой дом, помимо стражи? Не сам он, конечно, вошел сюда — его внесла чья-нибудь злодейская рука, но чья?

— Только не рука мужчины. Я в этом ручаюсь, великая царица, — отвечал Бокакамон.

— Так рука женщины?

— Женщины, царица.

Тиа и Нитокрис молча приблизились к ложу, на котором лежала мертвая Лаодика. Утренний свет, падавший сверху на лицо убитой косой полосой и отражавшийся бликами в широко раскрытых глазах умершей, придавал застывшему лицу ее выражение изумления, смешанного с ужасом, точно то, что она видела там, в загробном мире, внушало ей этот ужас.

С изумлением и страхом все смотрели на старуху, а слезы текли по ее смуглым щекам. Нитокрис плакала, припав к плечу матери.

Вдруг Херсе перестала причитать, и, несмотря на присутствие царицы, нагнулась близко к лицу умершей.

— Я вижу ее... я вижу убийцу! — с ужасом проговорила она.

— Где? Кто? — с удивлением спросил Бокакамон.

— Вон она... в глазах у нее... Смотрите! Смотрите! — говорила старая негритянка, впиваясь глазами в открытые, уже остекленелые глаза Лаодики. — Я вижу ее!

С изумлением и страхом все смотрели на старуху, полагая, что рассудок ее помешался от горя. Но Бокакамон приблизился к ложу и тоже взглянул в глаза умершей.

— Видишь, господин? — глухим шепотом спросила его Херсе, как бы боясь спугнуть то, что она видит. — Тебе известно, господин, что когда кто убивает другого и тот, кого убивают, видит убийцу, то лицо убийцы, словно в зеркале, навсегда остается в глазах убитого... Убийца стоит в ясных очах моего божества, моей Лаодики... Вон она — это женщина — я узнаю ее.

— Кто же она? — с суеверным страхом спросили Бокакамон и Тиа.

— Я не знаю ее имени... но я видела ее здесь, в этом доме.

Все с изумлением и страхом посмотрела друг на друга.

— И ты узнаешь ее? — спросил Бокакамон.

— Узнаю... Она такая красивая... злая... глаза василиска...

— Посмотри, нет ли ее здесь? — сказал Бокакамон. Женщины этого дома, столпившиеся сзади царицы и жадно прислушивавшиеся к бессвязным словам старой негритянки, при словах Бокакамона с ужасом попятились назад. А что, если безумная старуха укажет на которую-либо из них?

Херсе отвела глаза от мертвого лица Лаодики и лихорадочным взором стала осматривать присутствующих. Все невольно потупляли глаза под ее пытливым взором.

— Видишь ее? Она здесь? — спросил Бокакамон.

— Не я! Не я! О боги! — вдруг закричала одна из рабынь, дрожа всем телом.

Это была Арза, которая на заре, поливая цветы лотоса, заметила в земле конец рукоятки предательского меча и вынула его, а потом показала другой рабыне, ливийке Неху.

Крик Арзы произвел общее смятение. Все глядели на нее, сторонясь с испугом. Бокакамон приблизился к ней.

— Говори, что ты знаешь? — грозно спросил он.

— О благородный господин, — трепеща всем телом, заговорила рабыня. — Я встала рано, вместе с Неху, и мы пошли поливать цветы на заре... Я поливала вон там цветы лотоса... Вдруг вижу, что-то блестит в земле... Я нагнулась... Вынимаю из земли... Это, вижу, меч... в крови... И показываю его Неху... Вдруг она закричала (указывая на Херсе)... я испугалась... — она замолчала.

— Ну и что же? — спросил Бокакамон.

— Я испугалась... я уронила меч... мы побежали сюда...

О, великие боги!

Ломая руки, она замолчала, все еще вздрагивая. Бокакамон обратился к Херсе.

— Это она? — спросил он, указывая на Арзу.-Узнаешь ее?

— Нет! Нет! Не она... Та, молоденькая, красавица... Вон она! — и Херсе опять уставилась в глаза умершей. — Глаза василиска... О, не гляди так... я — я твоя злодейка, я недоглядела... я заспала... О мое божество! Я недостойна служить тебе в загробном мире.

Скоро весть об ужасном происшествии в женском доме облетела весь дворец фараона. Прежде всех явился в помещение Лаодики царевич Пентаур, который был глубоко очарован красотой несчастной дочери Приама и мечтал сделать ее царицей Египта.

Вид мертвой Лаодики произвел на него потрясающее впечатление. Он не верил, чтобы это была та Лаодика, которая еще накануне мечтала с ним о возвращении в Трою, о восстановлении царства предков.

— Убита! Убита! О боги! — вырвался у него крик отчаяния. — О прекрасный, нежный цветок лотоса! Кто сорвал тебя? Где тот злодей? О, вечные, безжалостные боги!

Он бросился к матери и заплакал.

— О, матушка! Ты ее так любила...

— Дорогой мой! Ты видишь: я сама плачу, — говорила Тиа, прижимая к себе голову сына.

— Но кто же решился убить ее?

— Боги то ведают... Вон меч, а чья рука направила его в сердце — никто не знает.

— Какой меч? Где?

Бокакамон подал Пентауру меч.

— Его нашли здесь, в саду.

— Это меч мужчины, — удивился царевич. — Как мог мужчина попасть в дом женщин?

— Нет, царевич, я головой ручаюсь, что мужчина не мог попасть сюда, — робко возразил Бокакамон, — меч внесен в этот дом рукой женщины, и эта же рука злодейски поразила несчастную дочь Приама.

— Женщина, женщина убила мою голубку чистую, — словно автоматически повторяла старая негритянка. — Она сидит в ее глазах, она смотрит оттуда...

— Что она говорит? — спросил Пентаур.

— У нее, кажется, помутился рассудок, — тихо отвечал Бокакамон. — Она убита горем: говорит, что лицо убийцы всегда отражается, как в зеркале, в глазах убитого. Старуха видит там убийцу.

Пентаур робко подошел к ложу Лаодики и нагнулся к ее неподвижному лицу.

— О боги! Я не могу видеть этих глаз! — с ужасом отшатнулся он от мертвой.

— Его святейшество идет! Фараон! Фараон! — послышался шепот среди женщин.

Все с боязнью расступились. Рабыни упали ниц. Это шел сам Рамзес.

XX. ВЕРХОВНОЕ СУДИЛИЩЕ

В тот же день Рамзес приказал нарядить строжайшее следствие по делу о таинственном убийстве троянской царевны. Преступление казалось таким загадочным, что для раскрытия его призваны были высшие следственные и судебные власти столицы фараонов. Во главе их стоял хранитель царской казны Монтуемтауи. В помощь ему придали носителя опахала Каро, царского переводчика Пенренну, знаменосца гарнизона Эив-Хора и несколько фараоновых советников.

В именном повелении, данном следователям, между прочим, выражено было: «Виновные и прикосновенные к неслыханному злодеянию в самом сердце моего дворца Должны приять смерть от собственной руки своей; да обрушится их преступление на главу их» — и добавлялось в конце: «Я есмь охрана и защита всего навеки и есмь носитель царского символа справедливости пред лицом царя богов, Аммона-Ра, и пред лицом князя вечности — Озириса».

В этот же день начались допросы. Следователи открыли заседание в палате суда, в самом дворце Рамзеса, перед изображением божеств высшего судилища — Горуса с головой кобчика и Анубиса с головой шакала, между которыми находились весы правосудия. Изображение князя вечности и судьи вселенной Озириса помещалось на троне; в одной руке его был скипетр, а в другой бич для злых и преступников; тут же на жертвеннике находился цветок лотоса, стережимый чудовищами, символами владык Нила, крокодилом и гиппопотамом...

Следователи и судьи помещались на возвышенных седалищах.

Первой была вызвана к допросу Херсе, которая неразлучно находилась с Лаодикой и спала всегда в преддверии помещения юной царевны. Убийца мог проникнуть к ложу Лаодики только через тело старой негритянки.

— Я убийца моего божества, солнца очей моих, — каялась Херсе перед следователями. — Пусть меня поразит своим бичом великий Озирис. Я не уберегла мое сокровище, я потушила свет очей моих — я заспала царевну, дочь богоравного Приама.

— Отвечай на вопросы, — остановил ее Монтуемтауи, поправляя на груди золотую цепь с изображением священного жука. — Ты сама готовила ложе царевне вчера на ночь? — спросил он.

— Сама, господин. Я никого не допускала к ее чистому ложу, — был ответ.

— А что делала царевна с вечера? С кем была?

— Под вечер, когда светоносный лик Горуса уже клонился к закату, а тени от пальм теряли свой конец за Нилом, ее ясность Лаодика ходила по саду с ее ясностью царевной Снат — да будет счастье и здоровье вовеки ее уделом — и рассказывала ей о своей родине, о священном Илионе, о том, как его осаждали данаи и атриды, о смерти брата своего Гектора, — говорила Херсе.

— А после того? — перебил ее Монтуемтауи.

— После того пришел его ясность царевич Пентаур и его ясность царевич Меритум, и царевич Пентаур спрашивал ее ясность Лаодику о вожде данаев Агамемноне и о храбром Ахиллесе, и о том, как брат ее ясности Лаодики Парис поразил насмерть в пятку Ахиллеса, — продолжала свое показание Херсе.

— А ты что делала в то время? — спросил главный следователь.

— Я заплетала венки из цветов, чтоб украсить им головку ее ясности.

— И царица при тебе легла потом на ложе сна?

— Я ее и уложила, и повеяла над нею опахалом, пока она не заснула.

— А сама легла спать когда и где?

— Я легла у ее порога, утолив жажду из своего кувшина водой Нила, и тотчас же заснула, как мертвая... О, великий Озирис! — всплеснула вдруг руками старая негритянка. — Меня опоили водою сна! Я теперь все поняла: кто-нибудь влил в мой кувшин сонной воды... Это так, так! Оттого я и заснула, как мертвая, чего со мной всю жизнь не было... О боги! Это верно, верно!... Я всегда бывало так чутко сплю, что слышу, кажется, всякое дыхание ее ясности, каждое ее движение на ложе сна... о, праведные боги!

Следователи молча переглянулись между собой.

— Так ты думаешь, с умыслом кто-нибудь усыпил тебя? — спросил Монтумтауи.

— С умыслом, я теперь вижу: оттого и вода показалась мне на вкус какой-то странной.

— Кого же ты подозреваешь в этом?

— О! Это та, которую я видела в мертвых зрачках моей голубицы, ее ясности Лаодики.

— В мертвых зрачках царицы ее видела?

— Да, в зрачках, как в зеркале.

— И то была женщина?

— Женщина — красивая, с глазами василиска.

— И ты можешь назвать ее имя?

— Не могу... не знаю... Но я ее видела.

— Здесь, в женском доме?

— Должно быть, здесь — больше нигде.

Тогда Монтумтауи предложил заседавшим с ним судьям — не предъявить ли перед лицом этой допрашиваемой всех женщин дома фараона? Все изъявили согласие.

Решение это тотчас же было объявлено в женском доме высочайшим именем фараона, и Бокакамону приказано было вводить в палату верховного суда поодиночке сначала ближайших рабынь, имевших право ночевать в женском Доме, а потом почетных женщин и девиц.

Эта поголовная очная ставка не привела, однако, ни к чему. В некоторые лица вступавших в палату суда женщин, особенно в молодые и красивые лица, Херсе всматривалась пристально, настойчиво, как бы пожирая их глазами, но потом в отчаянии повторяла: «Нет, нет... не та... не то лицо... не те глаза...»

От одного лица она долго не могла оторвать глаз — это прекрасное лицо Аталы, к которой, видимо, охладел Пентаур с той минуты, как увидел Лаодику. Атала была бледнее

обыкновенного, когда предстала перед судилищем; глаза ее были заплаканы, и она, казалось, избегала взгляда старой негритянки. Херсе вздрогнула, когда увидела ее, и отступила назад. Она давно замечала, как Атала недружелюбно смотрела на обожаемую ею дочь Приама. Чутьем женщины старая негритянка угадала, что Атала ревнует Лаодику к Пентауру, и сама стала недолюбливать гордую дочь Таинахтты. И вот обе эти женщины с глазу на глаз перед страшным судилищем... Не она ли убийца? Не у нее ли глаза василиска, что отпечатались на мертвых зрачках несчастной дочери Приама?... Лицо прекрасное, но не доброе, такое, какое поразило ее в мертвых зрачках... Херсе вспомнила эти безжизненные, остеклелые, когда-то прекрасные глаза, вспомнила это мертвое юное личико, вспомнила счастливое детство Лаодики, потом печальную судьбу ее родного города, ее семьи, свою неволю, с которой она давно сжилась...

— О боги! Помогите мне! — простонала она.

— Ну, что же? Говори! — напомнил Монтуемтауи.

— Кажется... она... кажется, — прошептала допрашиваемая.

— «Кажется» — не имеет силы утверждения: говори без «кажется», — повторил Монтуемтауи.

— Не знаю... не знаю... о боги!

— Атала, дочь Таинахтты, может удалиться от лица суда, — сказал Монтуемтауи. — Так и запиши показание допрашиваемой: не дано обвинения, — обратился он к писцу палаты суда.

Атала, видимо шатаясь, удалилась. Херсе провожала ее долгим, каким-то растерянным взглядом.

По окончании повальной очной ставки вызваны были к допросу одна за другой рабыни Арза и Неху, первые нашедшие предательский меч в саду. Но и от них не узнали ничего более, кроме того, что было уже известно.

Со своей стороны Бокакамон с помощником своим Аххибсетом допросили всех женщин дома — не заметили ли они ночью, чтобы кто-либо ходил в сад или около помещения троянской царевны; но и это ни к чему не привело: все спали по своим местам, и никто ночью не в урочный час не бродил по саду.

Тогда стали призывать к допросу привратников женского дома: кто сторожил в эту ночь ворота дома, и не было ли впущено в дом постороннее лицо.

И тут все под страшной клятвой подтвердили, что никто из посторонних женщин, не только мужчин, ни в эту ночь, ни днем, и никогда никто не входил в женский дом, в это недостижимое для постороннего глаза святилище богини Сохет.

Где же искать преступника?

Когда следователи остались одни после произведенных ими допросов, Монтуемтауи взял в руки меч преступления, лежавший перед ним на столе.

— Живые люди ничего нам не открыли, — сказал он, глядя на меч, — так все откроет это мертвое железо.

— Правда, правда, — подтвердили прочие следователи, — допросим железо.

— Это меч редкой работы, дорогой меч, — сказал медленно Монтуемтауи, — он будет дважды сугубо красноречив в опытных руках во-первых, это редкий меч, он не египетского

изделия; таких я не видал в земле фараонов; да и божество на рукоятке меча — не египетское; я полагаю, что это — финикийское божество из северной страны Рутен; это — богиня Астарт, как мне кажется; это — один язык нашего меча; во-вторых, такое драгоценное оружие могло принадлежать только богатому, знатному лицу, которое бывало в походах, если не само, то его отец, его предки; но, может быть, меч этот куплен и в Египте: у кого? — это второй и самый красноречивый язык.

— Хвала твоей мудрости! — воскликнули следователи. — У тебя глаза и ум бога Хормаху.

— Как же мы допросим это железо? — продолжал риторически Монтуемтауи. — Как развяжем ему язык? А вот как: вызовем сюда, пред лицом судных божеств, всех продавцов оружия и всех оружейных мастеров города Фив — они развяжут язык железу.

Мнение председателя было принято, и на другой день все оружейники Фив были вызваны в суд.

Меч долго переходил из рук в руки, но ни один продавец не мог сказать, чтоб это дорогое оружие было куплено у него или сделано в Фивах: такого меча в столице Египта никто не видал... Только один старый мастер долго рассматривал клинок и рукоятку меча и, по-видимому, что-то соображал.

— Это меч финикийской работы, — сказал он наконец, — рукоятка его изображает богиню Астарту.

— Так я и говорил, — заметил Монтуемтауи. — Но как он попал сюда?

— Он куплен или в Мемфисе, или в Цоан-Танисе, последнее вероятнее, — отвечал старый мастер. — В Цоан-Танисе я сам видел такие мечи.

На основании этого показания решено было тотчас же отправить носителя опакхала Каро в Мемфис и в Цоан-Танис. Там он должен был предъявить роковой меч всем продавцам оружия и узнать, кому и когда был продан финикийский меч.

В Цоан-Танисе Каро действительно напал на след того, что ему поручено было разыскать. Один оружейник этого города узнал предъявленный ему меч. Он сказал, что это дорогое оружие досталось ему по наследству от отца и хранилось в его лавке вместе с прочим оружием, но что несколько месяцев тому назад зашел к нему молодой египтянин и, увидав меч, который ему очень понравился, купил его за весьма дорогую цену.

— Кто ж был этот молодой египтянин? — спросил Каро с затаенной радостью, которую боялся обнаружить перед продавцом. — Он здешний? Из Цоан-Таниса?

— Нет, господин, он приезжий и, как я узнал, отправлялся отсюда в Фивы, — отвечал торговец. — Имени его, господин, я не спрашивал; знаю только, что он купил здесь на рынке двух рабынь — одну молоденькую, а другую — старуху из племени Куш.

— А молодая из какого племени?

— Этого не умею сказать, господин, а говорили, будто она из царского рода.

— А какая она из себя?

— Очень красивая и с золотистыми волосами; говорили, что она привезена из-за Зеленого моря.

— А какой из себя египтянин, который купил ее?

— Высокий и красивый и, должно быть, из знатного рода — с золотой цепью на груди.

Больше этого ничего не мог узнать Каро от продавца оружия. Тогда он обратился к торговцам невольниками. Здесь след того, чего он доискивался, выяснился еще более. Один из работорговцев припомнил, что несколько месяцев тому назад он продал одному знатному молодому египтянину из Фив двух рабынь — одну юную красавицу из северных стран, дочь царя, город которого был разрушен и сожжен врагами, а дети его, дочери, отвезены в разные места. Одна из них со своей рабыней и была отбита на море финикийскими пиратами и продана в Цоан-Танисе.

— А не знаешь, как звали этого царя, ее отца? — спросил Каро.

— Не помню, господин, — отвечал работорговец. — Старая ее рабыня, из страны Куш, называла имя этого царя и их город, но я забыл.

— Не Троя ли этот город?

— Так, так, господин, именно Троя.

— А царь назывался Приам?

— Кажется, что так, но, наверное, не помню.

— А как звали эту дочь его, что купил у тебя знатный египтянин?

— Я ее знал просто «царевной» или «золотой царевной», потому что у нее волосы такого цвета, как золото священной страны Пунт.

Для Каро не оставалось теперь никакого сомнения, что это была несчастная Лаодика, дочь такого же злополучного Приама, а купивший ее знатный египтянин — Абана, сын Аамеса.

С этими сведениями он и поспешил воротиться в Фивы.

Всю дорогу его мучили вопросы: неужели Абана зарезал Лаодику? А если он — то как он мог пробраться ночью в женский дом? Но старая негритянка утверждает, что Лаодику зарезала женщина, но только мечом, принадлежащим Абане.

— Нет сомнения, — думал Каро, — что Абана, злобствуя на Лаодику за ее бегство, подкупил одну из женщин дома фараона зарезать невинную девушку: пусть же не достается никому другому, если не досталась ему. Но в таком случае зачем отдавать свой меч для совершения убийства? Меч этот — прямая улика. Разве нельзя было найти другой меч или простой нож? Подкупленная убийца могла совершить свое гнусное дело всяким острым ножом, которые всегда находятся под рукой в женском доме. Зачем же понадобился именно меч Абаны, и притом такой редкий и заметный?

Эти вопросы так и остались неразрешенными в голове Каро.

XXI. УБИЙЦА ЛАОДИКИ

В тот же день, когда Каро воротился в Фивы, Абана под наблюдением мацаев был приведен в палату верховного суда. Появление в его доме мацаев сначала встревожило его, но он тотчас же ободрился и смело явился в суд. Он даже держал себя высокомерно, зная, каким уважением в стране и лично у фараонов пользовался его отец.

— Абана, сын Аамеса! — торжественно обратился к нему Монтумтауи. — Пред лицом Озириса говори только правду. Скажи, что ты знаешь о дочери троянского царя Приама Лаодике, которую ты купил несколько месяцев тому назад в Цоан-Танисе вместе с ее рабыней.

— Я знаю только то, что обе они на пути от Мемфиса к Фивам, пользуясь темнотой ночи и оплошностью моих рабов, постыдным образом бежали с корабля «Восход в Мемфисе», — гордо отвечал Абана.

— Ты их потом не мог найти?

— Не мог.

— И не знал, где они?

— Не знал.

— И никогда больше не видел Лаодики?

— Не видел.

— Абана, сын Аамеса! — возвысил голос один из судей, знаменосец гарнизона Хора. — Ты говоришь неправду в лицо Озирису, ты видел царевну Лаодику.

— Абана, сын Аамеса, ты сознаешься, что сказал неправду в лицо Озирису? — спросил Монтумтауи.

— Не признаю, — был дерзкий ответ, — я сказал правду.

— Уличи же его во лжи, знаменосец Хора, — сказал председатель суда.

— Вот как это было, — начал Хора, — когда после отбытия ее ясности царевны Нофруры в загробный мир, и в прекрасную страну Озириса, его святейшество фараон Рамзес со всей своей благородной семьей возвращался с похорон царевны во дворец, и царевна Лаодика шла рядом с ее ясностью царевной Снат-Нитокрис, ты, Абана, сын Аамеса, стоял рядом с моим начальником, с вождем воинов гарнизона Таинахттой, а я, знаменосец гарнизона, Хора, стоял позади вас, и ты, Абана, говорил Таинахтте: «Она, царевна Лаодика, моя рабыня и беглянка, и я возьму ее обратно к себе как мою собственность». Вот что говорил ты, Абана, сын Аамеса.

Абана не ожидал удара с этой стороны и растерялся, но скоро обычная дерзость воротилась к нему, и он презрительно сказал:

— Судьи также могут говорить ложь в лицо Озирису: того, что на меня взводит знаменосец гарнизона и мой судья Хора, я не говорил и Лаодики, после ее бегства, не видел.

— Ты утверждаешься на этом пред лицом Озириса? — строго спросил Монтумтауи.

— Утверждаюсь, — был ответ.

Монтумтауи сдернул со стола свиток папируса, которым прикрыт был предательский меч.

— А это что такое? — вдруг спросил он.

— Меч, — сказал отрывисто допрашиваемый и чуть заметно вздрогнул.

— А чей он?

— Не знаю.

— А не был он прежде твоим?

— Не был.

Такие дерзкие ответы возмутили судей; носитель опахала Каро даже привстал с негодующим видом и сверкающими глазами.

— Абана, недостойный сын благородного Аамеса, ты снова солгал пред лицом Озириса, — сказал он резко. — Ты купил этот меч в Цоан-Танисе у торговца оружием Аади в лавке на невольничьем рынке.

— Сознаешься? — повторил вопрос председатель.

Улики были слишком подавляющего свойства, и Абана оторопел. Ему сразу представилось, что его подозревают в убийстве Лаодики. Пропасть открывалась под его ногами, и он понял, что надо спасать свою шкуру.

— Сознаешься? — повторил вопрос председатель.

— Сознаюсь, меч мой, но его у меня украли.

— Давно?

— Недели две тому назад, — Почему же ты не заявил в свое время о покраже? Это такое редкое и дорогое оружие.

Абана молчал. Он чувствовал, что более и более запутывается: судьи, по-видимому, знали больше, чем он предполагал, и больше, чем сами высказывали.

— Приблизься к столу, — сказал ему Монтумтауи, — взгляни на меч, видишь на нем следы крови?

— Вижу, — хрипло отвечал Абана.

— Это кровь дочери троянского царя, Лаодики, она зарезана твоим мечом. Кто ее зарезал?

— Не знаю, — чуть слышно отвечал Абана, дерзость которого уступила место страху.

— Как же твой меч очутился в женском доме фараона, его святейшества Рамзеса?

— Я подарил его Атале, дочери Таинахтты.

Слова эти разом пролили свет на все, что казалось доселе темным. Атала, эта прекрасная девушка, в лицо которой так пристально всматривалась старая Херсе? Неужели Атала убийца? Неужели она усыпила старую негритянку в ночь убийства? А что побудило ее к этому злодеянию? А то, чем единственно живут женщины: чувство, страсть, ревность. Ревность! Вот где разгадка всему. Атала, вероятно, равнодушна к этому долговязому сыну Аамеса и, боясь, что прекрасная Лаодика опять будет возвращена ему как его собственность и может пленить его сердце, что было очень возможно с ее красотой, решила отделаться от опасной соперницы и выпросила у Абаны меч, которым и поразила бедную, невинную жертву. Так думал Монтумтауи, пораженный этим неожиданным открытием. Но, может быть, Абана, по злобе на беглянку, сам подготовил Аталу убить Лаодику, чтобы она не досталась другому?

— А твоя воля участвовала в убиении троянской царевны? — спросил, после небольшого размышления, Монтумтауи.

— Как? — как бы очнулся допрашиваемый.

— Ты велел или советовал Атале убить Лаодику?

— Нет, не я, — с запинкой отвечал Абана.

— И ты на этом показании утверждаешься?

— Утверждаюсь.

— Уведите допрашиваемого в комнату ожидания, — сказал Монтумтауи, обращаясь к писцам.

Абану увели в ближайшую комнату.

— Теперь надо подвергнуть допросу Аталу, — продолжал председатель, когда закрылась дверь за Абаной.

За Аталой недалеко было ходить, так как она жила во дворце, в женском доме, и через несколько минут прекрасная девушка стояла перед судом.

— Атала, дочь Таинахтты, вождя воинов гарнизона! — торжественно обратился к ней председатель. — Отвечай истинную правду на все вопросы, которые будут заданы тебе перед лицом великого Озириса. Что тебе известно по делу об убиении дочери троянского царя Приама Лаодики?

Атала стояла спокойно, но лихорадочный блеск ее глаз обнаруживал внутреннюю тревогу. Она молчала, нервно сжимая руки.

— Отвечай на вопрос, — подтвердил Монтумтауи.

— Я узнала о смерти Лаодики только утром, — отвечала девушка глухо.

— Может быть... А ночью ты не была в ее опочивальне?

— Нет, я спала.

Председатель показал допрашиваемой роковой меч.

— Тебе знакомо это оружие? — спросил он.

— Да, я видела его в руках зрителя дома, Бокакамона, в утро смерти Лаодики.

— А прежде этот меч не был у тебя в руках?

— Никогда не был.

— Введите сюда Абану, сына Аамеса, для очной ставки, — обратился председатель к писцам.

При этих словах на прелестном лице девушки выразился ужас.

Ввели Абану. Трудно изобразить взгляд, которым моментально обменялись допрашиваемые: столько в глазах каждого было тревоги и взаимного недоверия.

— Атала, — сказал председатель, — Абана показывает, что он подарил тебе этот меч. Как же ты утверждаешь, будто он никогда не был у тебя в руках? Абана! Ты подтверждаешь свое показание?

— Подтверждаю, — был ответ.

— Атала! Говори правду, — настаивал председатель, — великий Озирис обнаружил твою ложь.

— Да... Он подарил мне свой меч— чуть прошептала девушка.

— На какое употребление?

— Так... мне понравился меч.

— А что ты с ним сделала?

— Ничего... Его у меня украли...

— Ты говоришь ложь! — возвысил голос председатель. — В ночь убийства Лаодики видели, как ты вышла из ее опочивальни и зарыла меч в саду под кустом лотоса.

Как громом поразили эти слова прелестное создание. Она зашаталась и упала на колени.

— О великая Сохет! Ты покарала меня!... Вселюбящая Гатор, спаси меня!... Любовь заставила меня сделать это. Я так любила Пентаура, а он изменил мне для Лаодики... Великая Гатор! Во имя твое я это сделала. Чужая девушка похитила у меня любовь и душу царевича... О боги!

Так рыдала Атала, предаваясь отчаянию. Но председатель продолжал допрос.

— Для чего же ты взяла его меч, когда могла убить твою жертву и простым острым ножом? — спросил он.

— О, великие боги! — рыдала девушка. — Я взяла этот меч потому, что Абана говорил, что острие его ядовито, и от одной царапины человек может умереть, не вскрикнув. А простой нож... о великая Гатор, зачем ты отступилась от меня?

Но вдруг она вскочила на ноги. Какая-то новая мысль внезапно озарила ее.

— Я должна была убить ее! — заговорила она особенно страстно. — Я убила ее, чтобы спасти от смерти его святейшество, фараона Рамзеса.

Председатель даже приподнялся на своем сидении. Тревога охватила остальных судей.

— Спасти от смерти его святейшество, фараона Рамзеса, сына Аммона-Ра! — почти шепотом проговорил Монтуемтауи. — Что ты сказала, несчастная!

— Я сказала правду, — отвечала Атала, дрожа всем телом. — Они решились погубить его святейшество!

— Они, ты говоришь? Кто они?

— Царица Тиа, царевич Пентаур, Лаодика.

— Остановись, несчастная! — тихо, но с силой сказал председатель. — Хула на его святейшество, на царицу, на наследника престола!

— Да, да, да! — точно в исступлении твердила убийца Лаодики. — Царица, царевич, Лаодика, Бокакамон, Пенхи, Адиррома, Ири... все, все!

Можно было подумать, что она лишилась рассудка, что она говорит в бреду. Между тем она

продолжала с прежней страстностью:

— Лаодика... Ее полюбил Пентаур и бросил меня... Ее полюбил и его святейшество, фараон, и хотел взять на свое ложе, в жены... Она была чаровница — околдовала всех злыми чарами. Они велели ей лишить жизни его святейшество, когда бы он взял ее на свое ложе... Я это знала, я знаю все — и я убила ее, чтобы спасти фараона.

Дело принимало оборот, которого никто не ожидал, и замять его было невозможно.

— Безумная! — воскликнул председатель. — Чем ты подтвердишь твой ужасный извет?

— Я еще не все сказала... Спрашивайте их... Я еще многое скажу...

Атала не могла больше говорить — она лишилась чувств.

XXII. НАПАЛИ НА СЛЕД

Когда Атала пришла несколько в себя, то продолжение допроса оказалось невыносимо.

Поддерживаемая одним из писцов-старичков Майи, она говорила как бы сама с собой, в каком-то горячечном бреду, повторяя бессвязно, и, по-видимому, бессмысленные слова: «восковой фараон»... «боги из воску»... «старый Пенхи сделал восковых богов»... «маленькая Хену»... «Апис глянул в очи Хену»... «воск от свечи богини Сохет»... «жрец Ири дал воск»... «фараона Рамзеса лишат души, а фараон Пентаур меня посадит рядом с собой на престоле»... «Лаодика-чаровница»... «фараон не любит царицу Тию»... «Изида-хеттеянка украла сердце фараона»... «единый бог»... и тому подобное. Но этот болезненный бред ясно обнаруживал, что существует какой-то заговор, и заговор против самого фараона. Дело принимало страшный оборот, и судьи не могли не видеть всей опасности своего положения: они нечаянно открыли чудовище, и это чудовище могло поглотить их самих. Надо было разобраться во всем этом, обдумать, взвесить и решить, что предпринять. Было несомненно, что они ощупью напали на след государственного заговора. Но след этот терялся в безумных словах потрясенной до потери рассудка молодой девушки.

Приказав увести ее домой и, отослав под стражу Абану, судьи начали обсуждать положение, в котором они очутились. Положение было критическое.

Многое стало теперь для них ясным. Они, да и многие в Фивах давно замечали, что между фараоном и царицей Тией существует холодность. Тайно поговаривали в городе и при дворе, что Рамзес слишком приблизил к себе белокурую, со светло-каштановыми волосами, хорошенькую Изиду-хеттеянку (еврейка) и, видимо, оттолкнул от себя Тию и ее любимца-сына, царевича Пентаура. Эта немилость к наследнику престола еще более огласилась в самый день венчания на царство. Рамзеса: в этот день он назначил младших сыновей — принца Рамессу начальником всей пехоты, принца Прахиунамира — главным начальником военных колесниц, юного Меритума — великим жрецом солнца в Гелиополисе и, объявив поход в Либу, взял их с собой на войну, равно и трех царевен — Нофруру, Ташеру и Аиду, а также еврейку Изиду, тогда как Пентаура оставил в Фивах для наблюдения за поступлением государственных податей, 33 ссыпкой в царские магазины полбы, дурры и других припасов.

Вырвавшееся в болезненном бреду Аталы упоминание о старом Пенхи, бывшем когда-то начальником стад фараона и удаленном от должности по доносу, о «восковом фараоне», о «богах из воску» и прочем имело также глубокое тайное значение. Это — намек на страшное

колдовство, на смертоносные чары. Маленькая его внучка Хену, которой в очи глянул бог Апис, — и тут дело идет о страшной, таинственной силе. Бред Аталы о том, будто Пентаур обещал посадить ее с собой на троне фараона — это не бред, а указание на новую тайну.

Очевидно также, что заговору этому причастен и Бокакамон, под ведением которого находилось все женское население дворца фараона. Несомненно, что и убийство Лаодики находилось в связи с заговором! Выгораживая себя в этом преступлении, Атала давала знать, что она действовала по внушению других лиц.

А при чем тут Ири, верховный жрец богини Сохет! Атала и его имя упомянула. Какое отношение имеет к заговору Адирома? Впрочем, он сын старого Пенхи и отец этой девочки Хену. Он же был и в плену у троянцев и жил во дворе отца Лаодики. Все это так сложно и запутанно. Нити заговора, по-видимому, разбросаны широко. А в руках судей только одна ниточка — это Атала, хрупкое существо, которое окончательно может потерять рассудок, и тогда нитка эта окончательно порвется, и клубок, ядро заговора, к которому можно было бы добраться с помощью этой нити, совсем укатится, пропадет из виду. Остается разве Абана? Но он, может быть, и не причастен к заговору.

Вообще судьи находились в большом недоумении. Тревога отражалась на лице каждого. В этой тревоге, в той неожиданности, с которой Атала поставила их лицом к лицу с таинственным и, по-видимому, обширным заговором, они не заметили одного странного обстоятельства. Когда Атала заговорила о какой-то опасности, угрожавшей будто бы жизни Рамзеса, на лице одного из судей выразилось глубокое волнение, скорее даже ужас. Это был именно Хора, знаменосец гарнизона, который уличил Абану в том, что он видел Лаодику во время возвращения процессии с похорон царевны Нофруры и говорил о бывшей своей рабыне с вождем воинов гарнизона, с Таинахттою, отцом Аталы. Когда эта последняя в припадке отчаяния сказала, что «он» решились погубить его святейшество, фараона Рамзеса! Хора задрожал и побледнел. Вероятно, он знал что-нибудь о заговоре, даже, может быть, принимал в нем участие, и вдруг он член верховного судилища!

Рассуждая о неожиданном, поразившем всех открытий судьи, однако, не могли не видеть противоречий в словах и действиях Аталы. В самом деле, если существовал заговор в женском доме, — а что оттуда именно исходили его нити, в этом они не сомневались, — то какое отношение к этому заговору могла иметь Лаодика, совершенно чужое лицо, и притом почти девочка, недавно принятая в женский дом? И главное, какое отношение к заговору имело убийство Лаодики? Ведь нельзя же было верить словам Аталы, будто бы Лаодика готовилась стать орудием гибели фараона. Тут нет истинной логики, логика тут чисто женская — ревность, и по этой логике надо было избавиться от соперницы. В самом деле, если Лаодику кто-то предназначил быть орудием погибели Рамзеса, то ближе всего и естественнее было выдать головой это самое орудие или его руководителей, и фараон спасен. Для чего же убивать?

Остановившись на самом вероятном предположении, что Лаодика сделалась жертвой женской мести из ревности, судьи неизбежно должны были прийти к такому заключению: Атала, получив от Абаны меч, напитанный смертельным ядом, убила свою соперницу; преступление открылось; преступница видит свою гибель — все кончено! Преступление ни к чему не привело: Атала чувствует, что тонет. И вот тут-то в ней проснулась чисто женская логика — инстинкт не умеющего плавать — он хватается за других. Атала ухватилась за тех, кто участвовал в известном ей заговоре: пусть же все тонут! А если они не утонут, то и она спасена.

Теперь оставалось передопробить Абану, не найдется ли в его показаниях той нитки, которая с болезненным припадком Аталы ускользнула из рук судей.

И Абану вновь ввели в палату суда.

— Абана, сын Аамеса! — снова начал Монтуемтауи. — Ты видел и понял, что многое открылось пред лицом Озириса из того, что ты хотел скрыть от нас и от всевидящего божества. Теперь скажи, что тебе известно из того, что открыла пред очами суда Атала?

— Я все сказал, что знаю, — отвечал Абана.

— Да, ты признался в том, что скрывал пред нашими очами и в чем тебя уличили, а уличили тебя в том, что ты видел Лаодику уже в Фивах и для убийства ее дал свой меч Атале. А что ты знаешь о том, будто ее подвинули на убийство, кроме тебя, еще и другие? Кто они?

— Я не знаю.

— Какие твои отношения к женскому дому?

Никаких. Из всего женского дома я лично знал Атаулу, с которой познакомился в доме ее отца.

— А какие твои отношения были к ее святейшеству царице Тии?

— Никаких. Я видел ее только издали, в священных процессиях.

— А с начальником женского дома, Бокакамоном?

— Никаких.

— А с Пенхи, бывшим смотрителем стад фараона?

— Никаких. Я его совсем не знаю.

— Скажи еще, Абана, сын Аамеса, какое участие в убийстве Лаодики мог принимать верховный жрец богини Сохет, Ири? Его имя также упомянула Атала, твоя сообщница.

Признавайся.

— Я ничего не знаю, больше мне не в чем сознаваться, — угрюмо отвечал Абана, видимо утомленный и физически, и нравственно.

Монтуемтауи помолчал несколько. Из ответов Абаны он мог заключить, что этот преступник или упорно отмалчивается, или изворачивается, или же совсем не причастен к заговору, а замешан в одном лишь убийстве Лаодики. По крайней мере, по отношению к заговору его ни в чем нельзя было уличить или поймать на противоречии, на сбивчивом показании. И Монтуемтауи снова приказал отвести его в комнату ожидания.

Но надо же было что-нибудь предпринять для раскрытия заговора. Но что предпринять? Атала указала на таких лиц, что даже страшно было подумать о привлечении их к следствию. Тут замешаны супруга фараона, наследник престола, верховный жрец богини Сохет и начальник женского дома. Необходимо об этом страшном открытии доложить Рамзесу.

— Но имеем ли мы какие-либо основания заподозрить ее святейшество? — решился возразить Хора.

— Это правда, — согласился Монтуемтауи, — но имеем ли мы право скрыть что-либо от его святейшества фараона?

— А если Атала говорила все это в болезненном бреду? — снова возразил Хора. — Или еще хуже: если она думала свое преступление взвалить на плечи таких особ, о которых нам и думать страшно?

— Как же быть? — спросил носитель опахала Каро.

— Мне кажется, — отвечал Хора, — надо прежде потребовать от Аталы доказательств, фактов.

— Но уж и без фактов слова ее слишком важны.

— Потому нам и следует быть еще более осмотрительными, — настаивал на своем Хора, — надо Аталу допросить обстоятельнее, в ее показании я не вижу смысла, девчонка убила соперницу из ревности и вдруг к своему личному делу припутывает священные имена.

— Мне также кажется, что докладывать об этом теперь же его святейшеству преждевременно, — заметил еще один из судей, худой и сморщенный, как старый финик, по имени Пенренну, занимавший должность царского переводчика.

— В таком случае надо допросить Аталу, — сказал председатель. — Пригласите сюда Бокакамона, смотрителя женского дома, — обратился он к писцам.

Вскоре в палату суда вошел Бокакамон. При входе он обменялся со знаменосцем Хора быстрым тревожным взглядом.

— Суд Озириса снова требует пред лицо свое девицу Аталу, дочь Таинахтты, — сказал пришедшему председатель.

— Дочь Таинахтты не может явиться пред лицо Озириса, — отвечал Бокакамон.

— Почему?

— Боги помешали ее рассудок.

— Что ж она? Заговаривается?

— Да, говорит несообразности... Полное безумие...

— Какие же несообразности? — допытывал председатель.

— Говорит речи, противные богам, — уклончиво отвечал Бокакамон.

— Какие же? Все относительно убийства дочери троянского царя?

— И другие речи, которых я не смею повторить.

— Отчего же? Пред лицом Озириса мы обязаны все говорить.

— Но она бредит.

— Мы, смертные, бредом называем иногда то, что устами смертного говорит само божество; боги говорят к смертным иносказательно, таинственно, и мы должны разгадывать скрытый в этом таинственный смысл — волю божества. Что же Атала говорит? — настойчиво спросил Монтуемтауи, следя за выражением лица Бокакамона. — Мы Должны все знать — такова воля его святейшества, носителя царского символа справедливости пред лицом царя богов, Аммона-Ра, и пред лицом князя вечности, Озириса, священное изображение которого глядит теперь на тебя и ждет твоего ответа.

Бокакамон с тревогой взглянул на изображение Озириса.

— Она говорит о каких-то восковых фигурах, о богах из воска, о маленькой девочке, которой великий бог Апис передал через очи свою божественную силу, — говорил Бокакамон в

глубоком смущении.

— Она говорила это и здесь, перед лицом Озириса, сказал Монтуемтауи, — это не бред — это в ней говорил дух божества. А что еще говорит она?

— О богине Сохет и ее верховном жреце Ири... а потом о Пенхи, об Имери...

— Об Имери! О верховном жреце бога Хормаху?

— Да, о нем... поминала и о советниках его святейшества — о Пилока и о ливийце Инини, что участвовали в похищении у Абаны дочери троянского царя, Лаодики...

В это время страж, стоявший у двери суда, тревожно воскликнул:

— Сюда жалует его святейшество фараон Рамзес!

Минута была критическая. Как должны были поступить судьи?

XXIII. ПРОВОДЫ ТЕЛА ЛАОДИКИ

Смерть Лаодики поразила своей неожиданностью и глубоким трагизмом. Думала ли несчастная дочь злополучного Приама, сестра Гектора и Кассандры, после всех пережитых ею и ее бедной родиной ужасов, найти смерть в далеком Египте от руки убийцы? Действительно, печальнее участи, какая постигла Приама и весь род его, едва ли найдется другой пример в истории.

Даже Рамзес, для которого ничего не стоило опустошить целые страны, вырезывать или забирать в плен их население, их царей, жен и дочерей, даже Рамзес-Рампсинит был глубоко огорчен трагической кончиной юной дочери Приама, нежная красота которой так очаровала его, что он готов был для нее пожертвовать не только своей законной женой, царицей Тией, но и прелестной Изидой, обворожившей его своей иудейской красотой. Но неутешнее всех была юная Снат-Нитокрис и царевичи Пентаур и Меритум. Для них после потери сестры Нофруры начались новые «дни плача», как и для старой Херсе.

Едва Рамзес увидел мертвым прелестное личико Лаодики, как тотчас же приказал жрецам приготовить ее тело к погребению с царской пышностью, а придворным зодчим и другим мастерам — изготовить для нее богатый саркофаг из красного порфира, а равно вырубить в своем семейном склепе погребальную камору рядом с каморой недавно погребенной дочери своей, Нофруры, и деревянную резьбу каморы приготовить из лучших пород деревьев — из драгоценного «кет», из красного и черного дерева и из сикомора.

В самый день смерти Лаодики, когда во дворец явились со своими носилками жрецы храма Озириса, чтобы отнести тело убитой в очистительную палату этого храма, Херсе едва могли оторвать от трупа ее любимицы. Неутешно плакала и юная Нитокрис, следуя за телом безвременно погибшей сиротки, к которой прелестная дочь фараона успела так горячо привязаться. Почти как и за телом Нофруры, за носилками Лаодики следовала толпа народа.

Внимание всех обращала на себя также одна маленькая, горько плакавшая девочка.

— Чья это девочка, что так горько плачет? — спросил Инини, тот энергичный ливиец, которого мы видели под Мемфисом, когда он и друг его Пилока возвращались из долины газелей, где они охотились на льва, а потом в тени храма Хормаху под гигантским сфинксом встретили жреца этого храма Имери и Адирому, возвращавшегося из троянского плена,

вернее, из города Карфаго после отплытия оттуда Энея. — Как плачет бедненькая.

— Это дочка Адиромы, — отвечал Пилока.

— А! Это того, что был около десяти лет в Трое?

— Да, который, помнишь, когда мы в Мемфисе садились на корабль «Восход в Мемфисе», узнал эту бедную дочь Приама и помогал нам и жрецу Имери похитить ее у Абаны, сына Аамеса.

— Девочка, вероятно, от отца узнала печальную судьбу Лаодики и вот теперь плачет о ней.

— Конечно. Вон отец старается утешить ее, но и сам плачет.

И в толпе многие узнали маленькую Хену.

— Вон та священная девочка, которой бог Апис передал небесный огонь, — говорила одна молодая египтянка с голеньким черненьким мальчиком на плече.

— Где? — спросила старая египтянка.

— Да вон прямо, плачет так.

— Да, да! Я помню, как она упала на колени перед Аписом... Ах, как страшно было!

— А еще страшнее было, когда ее хотели принести в жертву Нилу.

Ах, да! Я никогда не забуду этого... Стоят эти семь девочек с пучками зеленой пшеницы в руках...

— И с цветками лотоса, — поправила молодая египтянка.

— Да, да, и с цветками лотоса... И вдруг Апис идет прямо на них... Все испугались...

— Только одна не испугалась, вот эта, — снова поправила молодая.

— Да, да, только одна не испугалась, вот эта... И Апис стал жевать ее пшеницу...

— А еще страшнее было, когда повезли ее на лодке топить, — вмешалась третья египтянка.

— Как грянет гром...

— Это не гром, — поправила и эту молодая египтянка, — это сам Аммон-Ра, который поразил своего сына, бога Горуса; так и верховный жрец сказал.

— Да, да... И огонь Аммона-Ра растопил золотого Горуса, а девочку вытащили из Нила.

Это говорили о Хену, которая шла за телом Лаодики и плакала. Отец действительно рассказал ей все о печальной судьбе дочери Приама, говорил об осаде Трои, о единоборстве Гектора с Ахиллом, о смерти прекрасного и мужественного брата Лаодики, о разорении ее родного города, и впечатлительная девочка всей душой полюбила ту, которую несли теперь в храм Озириса. Еще недавно она видела ее живой, такую нежную и прекрасную, когда она рядом с той, плачущей теперь царевной Нитокрис возвращалась с похорон Нофруры.

В толпе, следовавшей за телом Лаодики, шли разнообразные толки о таинственной смерти несчастной чужеземной царевны. Молва об этом событии быстро облетела все Фивы: убийство в женском доме фараона — да, это действительно событие изумительное. Многие придавали этому мистическое, сверхъестественное значение. Но женщины в этом отношении более проникательны, чем мужчины. Египтянки хорошо знали, какую роль в жизни

человеческой играет чувство, особенно чувство женщины, существа, менее свободного в деле выбора привязанности, и оттого ревность ее является более подавляющим чувством, чем ревность мужчины.

— Ее непременно убили из ревности, — говорила старая египтянка, качая головой как бы в знак укоризны по адресу ревнивых.

— Да, наша сестра не любит делиться лакомым куском, — соглашалась младшая с ребенком на плече.

— Кто любит! А все же приходится делиться.

— Но вот с этой, с чужеземкой, не поделились.

— Ох, дела, дела! И у самого фараона не могут поделиться.

— Что ж, и поделом — не отбивай.

— Да кто тебе сказал, что она кого отбивала? Знаешь мужчин — иного не хотела бы, так сам вяжется, пристаёт. Может, и с ней так было.

— А как царица-то плачет! Так и разливается.

— Да, молоденькая еще — не зачерствела.

— Ну, не говори: вон как старуха разрывается.

— Да та ее, говорят, на руках выносила, как вон и ты же своего. Что ж! Боги и у нас, старых, не отнимают сердца, и мы умеем любить.

Между тем шедшие за телом Лаодики Пилока и Инини несколько иначе объясняли смерть несчастной дочери Приама.

— Это дело рук Абаны, — говорил Пилока, — не хотел, чтоб красавица досталась другому.

— Но как он мог проникнуть в женский дом? — возражал Инини.

— Да он, конечно, не сам ее зарезал, а подкупил убийцу.

— Да, от него станется: такое грубое и высокомерное животное, — согласился Инини. — А как жаль! Такое прелестное существо, и боги не пощадили.

— Как не жаль! Вон и царица Снат так плачет.

— А Пентаур? Тот, говорят, разъярен, как лев, на неизвестную убийцу.

— Но чей меч, которым ее зарезали? Говорят, дорогой меч.

— Да, вероятно, все того же Абаны.

— Но неужели же боги до того ослепили его, что он отдал убийце свой меч? Ведь по этому мечу непременно доберутся до него.

— Конечно, боги всегда ослепляют тех, кого хотят погубить. Так мы с тобой и льва ослепили в долине газелей, а потом и убили его.

— Да, правда. Но мы еще не ослепили другого льва.

— Ослепим, хотя для этого другого мало двух стрел.

— О, не беспокойся, мой друг, наш главный охотник говорит, что в нашей облаве на льва примут участие почти все Фивы — главные советники и казнохранители.

— А святые отцы?

— Конечно, это опытные псари и ловкие стрельцы, хотя стреляют не стрелами ядовитыми, а словами.

За внутренними пилонами храма Сераписа носилки с телом Лаодики были поставлены на землю.

Прощанье с невинной жертвой ревности было так же трогательно, как и прощанье с Нофрурой; но только старая Херсе и Адирома, видевшие когда-то Лаодику в другой среде, среди иных людей, могли чувствовать всю трагичность этого последнего прощания, последнего целования.

Скоро бездыханное тело несчастной дочери Приама скрылось за глухой дверью очистительной каморы.

XXIV. ОБЫСК И АРЕСТ

Над Фивами стояла ясная лунная ночь. Полный месяц обливал молочным светом всю громаду колоссальных храмов и дворцов царственного города фараонов, которые бросали от себя короткие, совершенно черные тени. Особенно фантастичны были тени, которые ложились у подножья колоссов Аменхотепа. Тихо катившиеся струи Нила отражали в себе длинную полосу растопленного серебра, а прибрежные гигантские тростники, казалось, о чем-то шептались, словно рассказывали друг другу о том, что означал доносившийся по временам с далекой отмели тихий плач крокодила, точно плач ребенка. В эту позднюю пору, когда все Фивы погружены были в сон, к дому старого Пенхи приблизилась небольшая группа людей, на медных шлемах которых и на остриях копий отражался свет месяца. Люди эти приблизились к дому тихо, словно крадучись, и окружили его со всех сторон.

Скоро в ворота кто-то громко застучал, и на стук раздался хриплый лай старой собаки Шази, любимицы маленькой Хену. Стук повторился еще сильнее.

— Кто там стучит в часы сна и покоя? — послышался голос старой рабыни Атор.

— Именем его святейшества фараона отоприте! — раздался повелительный возглас, в котором можно было узнать голос Монтуемтауи.

— А кто смеет говорить именем его святейшества? — отозвалась мужественная Атор, стараясь заставить умолкнуть лаявшую неистово собаку.

— Я, Монтуемтауи, хранитель казны фараона и председатель верховного судилища, — был ответ.

Старая Атор не откликалась больше, и только собака продолжала лаять и скрестись в ворота.

Стук и лай собаки подняли на ноги весь дом. Слышались голоса рабынь, стук отворявшихся и затворявшихся дверей. В одном окошке дома показался огонь.

— Отоприте! Или ответите перед лицом закона за сопротивление воле фараона! — снова

повторил свое требование Монтумтауи.

— Отпираю, — был ответ изнутри.

Запор щелкнул, и дверь растворилась. Это был Адиррома, который вышел встретить неожиданных гостей.

— Дом Пенхи открыт по слову его святейшества, — сказал Адиррома, впуская во двор Монтумтауи, носителя опахала Каро и несколько вооруженных воинов и мацаев.

Адиррома был бледен, но спокойно встретил сыщиков.

Монтумтауи, поставив у ворот стражу, вместе с Каро и Адиромой вошел в дом. У порога их встретил старый Пенхи, лицо которого было холодно, но с легким оттенком презрения.

— Я открываю мой дом силе, но не закону богов, — сказал он гордо, — где закон?

— Вот он! — холодно отвечал Монтумтауи, показывая перстень с картушем фараона.

— А зачем фараон прислал в мой дом свои глаза и свои уши, и притом тогда, когда все люди и звери вместе с богом Хормаху предаются покою? — спросил Пенхи.

— Такова его воля, и воля фараона — воля богов, — был ответ.

— Что же ищет фараон? — снова спросил Пенхи.

— То, что ты сотворил тайно на пагубу фараону.

— Что же именно?

— Восковые изображения, — грозно сказал Монтумтауи, — я прислан за ними — покажи их.

— У меня нет того, что ты спрашиваешь, — отвечал Пенхи.

— Где же они? — спросил следователь.

— Не знаю, спроси у богов, — был ответ.

Тогда Монтумтауи и Каро, взяв в руки светильники, начали обыск. Они тщательно перерыли весь дом, осматривали каждый угол, каждую нишу. В одной глубокой продолговатой нише, закрытой легкой завесой, они увидели спящую Хену. Свет от светильни упал на прелестное личико Девочки, которая спала, разметавшись и подложив одну руку под голову. Улыбающиеся губки ее что-то шептали во сне. Свет заставил открыть ее глаза.

— Милое дитя, где восковые изображения? — ласковым голосом неожиданно спросил Монтумтауи.

— В храме богини Сохет, — отвечала не вполне проснувшаяся девочка.

Пенхи вздрогнул и побледнел.

— А где дедушка? Дедушка! — громко позвала Хену, приходя в полное сознание.

— Я здесь, дитя, — отвечал Пенхи дрожащим голосом. Хену вскочила со своего ложа, стараясь натянуть на плечи спадающую на грудь рубашонку.

— Устами младенца возгласило божество, — сказал Монтумтауи, отходя от ниши, — мы теперь знаем, где искать то, что мы ищем.

Хитрый царедворец и рассчитывал на то, что девочка спросонок проговорится. Он и спросил ее неожиданно, хотя ласково, точно о самой обыкновенной вещи. И Хену, никем не предупрежденная, выдала тайну деда и отца. Она, впрочем, и не догадывалась о ее важности и сопряженной с ней опасности: ей сказали, что восковые изображения делались по повелению божества, и она думала, что это так и должно быть. А для чего они изготовлялись — она не знала: «на великое и святое дело», говорил ей дедушка, и этого с нее было довольно. В последние месяцы с девочкой случилось столько непонятного, что она и не старалась в нем разбираться. Встреча с Аписом во время процессии в день венчания на царство Рамзеса, испуг Хену при виде наступавшего на нее священного быка, эпитет «священной девочки», приданный ей после этого случая, ночное посещение храма богини Сохет, таинственный свет, исходивший во тьме от изображения этой богини, непонятная беседа с ее жрецом Ири, таинственное происшествие в алтаре богини, эта страшная змея, пожиравшая хорошенькую птичку, потом изготовление восковых богов и людей, наконец, эта последняя процессия на берегу Нила, когда ее, Хену, бросили в Нил, а в это время разразился страшный гром, от которого со страха бежал сам бог Апис, а золотое изображение Горуса расплавилось от небесного огня, — все это спутало в голове девочки представления о понятном и непонятном, о том, что естественно и что выходило за пределы естественного и возможного. Вероятно, все так и должно было быть, думалось ей. Она видела только, что ей предназначено было играть какую-то роль в том, что совершалось вокруг нее, а что это было такое — об этом знал дедушка, а дедушка, даже при отце, был для нее все: она выросла на его руках.

— Нить найдена, — сказал Монтуемтауи, отведя Каро в сторону, — теперь надо добираться до клубка.

— Я так и подозревал, что клубок в руках святых отцов, — тихо сказал носитель опахала.

— И я то же думал, да их трудно взять, — отвечал на это Монтуемтауи, — они прячутся за спины божества.

После этого он тотчас же приказал всем собираться.

— Ты, милая девочка, тоже пойдешь с нами, — сказал он, глядя на Хену, которая теперь стояла с широко раскрытыми глазами.

— Куда? — спросила она.

— Куда зовут тебя боги, — отвечал Монтуемтауи.

— И с дедушкой?

— Да, и с дедушкой, и с отцом, — отвечал коварный следователь, ласково улыбаясь.

— А няня Атор?

— Это старая рабыня?

— Да, добрая Атор.

— И она пойдет с нами.

— А другие рабыни?

— Те пока останутся здесь, милое дитя.

Наивные вопросы девочки, видимо, забавляли сурового судью, и он любовался прелестным, смелым ребенком, который так много помог им в их деле. Старый слуга фараонов готов был

расцеловать ее.

Оставив караул при доме Пенхи, следователи вместе со своими арестантами и небольшим конвоем отправились на другую сторону Нила, на западную, где расположены были дворцы фараонов. Ночь была все та же — ясная, лунная. Месяц стоял в зените и освещал спящий город и Ливийский хребет фантастическим светом. Все шли молча, как бы очарованные таинственностью тропической ночи.

— Дедушка! — заговорила вдруг Хену, держась за руку деда. — Бог Апис спит теперь?

— Не знаю, дитя, — отвечал Пенхи, сжимая маленькую ручку девочки, — вероятно, спит.

— Вам нельзя теперь разговаривать друг с другом, милая, — остановил Монтумтауи Хену, положив ей руку на плечо.

— Отчего нельзя? — удивилась девочка.

— Вас разделяет теперь божество, — уклончиво отвечал Монтумтауи.

— Нет, не разделяет, — наивно возразила Хену, — меня Дедушка держит за руку.

Монтумтауи невольно рассмеялся. Он был в хорошем Расположении духа, потому что порученное ему Рамзесом бедствие началось так удачно, что обещало скорую развязку, а потому наивная болтовня Хену только забавляла его. Притом же он надеялся узнать от этой болтливой девочки еще что-нибудь посущественнее. Надо только ласковее обращаться с ней, не запугивать: маленькая заговорщица сама шла в пасть крокодила, словно птичка в силлок.

— А с отцом можно разговаривать? — спросила она.

— С отцом можно, — отвечал Монтумтауи, стараясь не рассмеяться.

— А отчего же с дедушкой нельзя?

— Теперь можно и с дедушкой.

Монтумтауи махнул рукой. Он видел, что болтунью не остановишь, а между тем своей болтовней она могла выдать что-нибудь важное для дела.

— О чем же ты хочешь говорить с дедушкой? — сам заговорил Монтумтауи.

— О месяце. — Она указала на блестящий диск луны, -

Он тоже бог?

— Бог, — отвечал Монтумтауи, совсем не того ожидавший.

— Отчего же он не всегда круглый? Вон солнце — оно всегда круглое.

— И месяц всегда круглый, а только его иногда нельзя всего видеть.

— Отчего? — не унималась Хену.

— Оттого, что когда он не весь виден, то значит, что он прикрыт завесой бога Себа, который есть сын Шу и внук бога Ра, а сам есть отец Озириса.

— Зачем же он прикрывает его своей завесой, этот бог Себ?

— А чтобы он шел на покой, и когда его не видно совсем, то, значит, — он на покое; а солнце — бог Ра — отходит на покой ночью, с вечера до утра.

— А! Понимаю, понимаю, — радостно заговорила Хену, — значит, когда солнце спит, тогда месяц должен не спать и стеречь землю, как наша собака Шази.

И Монтуемтауи и Каро не могли не рассмеяться при этом сопоставлении месяца с дворовой собакой.

— Верно, верно, — согласился Монтуемтауи.

— А кто же стережет землю, когда месяц спит? — снова допытывалась Хену.

— Тогда стерегут звезды.

— А звезды — кто они?

— Звезды — дети бога Ра, внуки бога Пта, как ты — внучка Пенхи.

Но вот и дворец Рамзеса.

XXV. ПОКАЗАНИЯ «СВЯЩЕННОЙ ДЕВОЧКИ»

Утром начались допросы. Это уже было новое следствие — следствие об обширном придворном заговоре на жизнь самого фараона Рамзеса. Новое дело как бы вытекало из дела об убийстве Лаодики. Следственные чины остались прежние, только отсутствовал Хора, знаменосец гарнизона, да к прежним судьям, по велению Рамзеса, было придано еще несколько приближенных советников.

На предварительном совещании решено было прежде всех допросить маленькую Хену, которая, по детской наивности, могла выдать многое, чего нельзя было бы добиться от опытных подсудимых. Она могла навести на след, дать новые нити в руки. Поэтому на ночь она помещена была отдельно от отца и деда вместе с одной из служительниц женского дома, на которую не падало никакого подозрения.

Эта женщина и поставила маленькую заговорщицу перед верховным судилищем. Девочка, очутившись в обширной палате перед сонмом чиновников, сначала смутилась было, но когда к ней подошел Монтуемтауи и с ласковой улыбкой потрепал ее по пухленькой смуглой щечке, Хену, по природе смелая, сразу приободрилась. Ее уже ничто особенно не поражало: она знала только, что «так должно быть», а к чему все это — она не задавалась этим вопросом.

— Ты знаешь, милое дитя, чье это изображение? — спросил Монтуемтауи, показывая на статую Озириса.

— Знаю, это бог Озирис, — бойко отвечала Хену, — его дедушка сделал из воска.

Судьи переглянулись.

— Так он и воскового Озириса сделал? — поторопился спросить Монтуемтауи, многозначительно взглянув на товарищей-судей.

— Да, и его сделал — очень похоже.

— А для чего, милая?

— Для великого и святого дела.

— Для какого же именно?

— Не знаю — для великого и святого.

Судьи снова переглянулись. Они поняли, что девочка едва ли знала о сути и цели заговора. Монтумтауи сел на председательское место и начал формальный допрос.

— Ты умная и хорошая девочка, Хену, — сказал он с прежней ласковостью, — перед лицом великого Озириса ты должна говорить только правду, о чем бы тебя ни спросили.

Будешь говорить правду?

— Буду, — отвечала маленькая подсудимая, — дедушка не велел мне никогда говорить неправду. Он всегда говорил: никогда не лги, всегда говори правду; если же почему-либо не можешь сказать правду — смолчи, но никогда не лги. Судей невольно подкупала эта наивная, бойкая речь прелестной девочки, которая всех очаровала.

— Твой дедушка хороший человек, что так учил тебя, — сказал Монтумтауи, — оттого и ты вышла такая хорошая девочка.

Хену была польщена в своем детском тщеславии и теперь готова была болтать без конца.

— Я священная девочка, — сказала она со скромностью, за которой звучала плохо скрытая гордость.

— Да? Священная? — выразил на своем лице притворное удивление председатель суда.

— Да... Мне бог Апис глядел в глаза во время процессии.

— Правда, это тогда, когда он отдавал тебя в жертву Нилу? — спросил Монтумтауи.

— Да, и тогда, и еще раньше, когда фараон венчался на царство: я упала пред ним на колени, а он глянул мне в глаза... Я не испугалась... И тогда мне сказали, что я священная девочка.

— Так-так, — подуськивал Монтумтауи. — Скажи же теперь, священная девочка, как и для чего твой дедушка делал богов из воска?

— Он и фараона сделал, — поправила Хену.

— И фараона?

— Да... Мы раз вечером пришли с дедушкой в храм богини Сохет... У нее огненные глаза... А верховный жрец повел нас к себе...

— Жрец Ири?

— Да, он добрый.

— Ну? Потом?

— Потом он облачился, взял в руку систр и повел нас в храм... Там змея съела птичку... Я эту птичку сама ей отдала — жрец велел... А мне ее так было жаль... А змея такая страшная.

Хену даже вздрогнула.

— А дальше что было? — допрашивал Монтумтауи.

— Дальше жрец отрезал священным ножом огромный кусок воска от свечи богини и велел дедушке сделать из этого воска богов.

— А фараона?

— Фараона он велел сделать из простого воска.

Судьи опять молча переглянулись.

— Я и свечу богини задула. Жрец велел, — продолжала Хену, — а потом жрец дал мне цветок лотоса.

— И дедушка сделал из воска богов и фараона?

— Сделал — очень хорошо.

— А потом?

— Потом ночью отнес их в храм богини Сохет.

— Зачем?

— Для великого и святого дела.

Больше от нее ничего нельзя было добиться. Она знала только внешнюю сторону дела; но и то, что она открыла, было очень важно для суда. Судьи теперь знали, что заговором руководил верховный жрец богини Сохет, лукавый Ири, и что изготовление волшебных фигур из воска принял на себя старый Пенхи; царица Тиа и царевич Пентаур были те лица, в пользу которых совершался преступный заговор.

— А отец твой делал богов? — спросил далее Монтумтауи после непродолжительного раздумья.

— Нет, он не делал... Он недавно воротился из Трои, где был в плену... Он там на руках носил Лаодику, когда она была маленькая.

Потом, как бы желая похвастаться, Хену сказала:

— И я делала богов из воска.

— Ты, дитя?

— Да, вместе с дедушкой... Я разминала воск в руках — так велел верховный жрец.

— А кто бывал у дедушки, когда он делал богов? — снова спросил Монтумтауи.

— Приходил Бокакамон из женского дома, жрец Имери, советники Пилока и Инини... Многие приходили.

— Кто ж еще?

— Не помню... забыла.

— А о чем они говорили с дедушкой?

— О великом крокодиле Египта: они говорили, что его надо прежде ослепить, а потом убить.

— Какой же это великий крокодил Египта?

— Не знаю... Должно быть, тот, что плачет по ночам... Он еще съел мою знакомую девочку — она играла на берегу Нила, у самой воды.

— А о фараоне говорили?

— И о фараоне говорили.

— Что же именно, припомни, девочка хорошая, ведь тебя зовут Хену?

— Да, Хену.

— Припомни же, милая Хену, что они говорили о фараоне?

— Они говорили, что его наказал Аммон-Ра, что АммонРа сердит на фараона — отнял у него любимую дочь Нофрур — что Нил не принял его жертвы.

— А говорили, за что на него сердит Аммон-Ра?

— За то, что он молится чужому богу — еврейскому и хочет еврейку Изиду сделать царицей.

Показания Хену принимали более определенный характер; ясно было, что предметом заговора был сам фараон Рамзес, что его подозревают в измене богам Египта, а это подозрение могло исходить, конечно, от жрецов; они же и руководители заговора. А Бокакамон? Он доверенное лицо царицы: Тиа, видимо, ревнует фараона к Изиде, к красавицееврейке... И здесь женская ревность. Теперь понятными становились смутные показания Аталы, тоже из ревности зарезавшей Лаодику: она прямо называла и Тиу, и Пентаура... Несомненно, Пентаура прочили, вместо отца, на престол фараонов.

В воображении Монтуемтауи, да и всех остальных судей, рисовалась теперь картина обширного государственного заговора. Допросы и показания Пенхи, Адиромы, Бокакамона, жрецов Ири и Имери, советников Пилока и Инини должны, конечно, указать на массу других лиц, участвующих в заговоре. Но как привлечь к допросу царицу? Ее должен допросить сам фараон.

XXVI. ЕГИПЕТСКИЕ КАЗНИ

Последствия подтвердили верность предположения Монтуемтауи и его товарищей по суду.

Заговор принимал угрожающие размеры, и если б роковая смерть Лаодики не обнаружила самого мельчайшего зерна в этом деле — участия в заговоре Аталы, то в Египте совершился бы кровавый переворот.

Следствием было раскрыто, что сторону царицы Тии и старшего царевича Пентаура приняли высшие сановники земли фараонов и многие из военачальников. Решено было или убить Рамзеса, или извести его с помощью колдовства, посредством восковых изображений, которые изготовил Пенхи из воска священной свечи богини Сохет, по благословению ее верховного жреца Ири.

Заговором руководил Бокакамон с двумя помощниками по управлению женским домом, или гаремом, фараона. В число заговорщиков вступили: семь ближайших советников Рамзеса, семь писцов, семь землемеров женского дома, четыре военачальника, из них один вождь гарнизона столицы фараонов, вождь иноземного легиона Куши, Банемус, сестра которого была наперсницей Тии, один государственный казнохранитель, два верховных жреца,

знаменосец гарнизона Фив и смотритель стад фараона. Все это были самые влиятельные лица в государстве. Надо заметить, что советники, «абенпирао», стояли у самого кормила правления; они были ближе к фараону, чем «великие князья» или наместники царя в областях; таким «абенпирао» был когда-то еврей Иосиф, сын Иакова. «Писцы» также играли важную роль в управлении Египтом: это были ученые-законники, имевшие огромное влияние на народ. Таким образом, все, казалось, готово было обрушиться на Рамзеса, и только смерть прелестной дочери Приама открыла глаза фараону.

Главных заговорщиков постигла страшная казнь. Сохранился папирус, находящийся ныне в Турине и прочитанный французским ученым Th. Deveria: «Le papyrus judiciaire de Turin» [13], на котором записан был судебный приговор по делу наших героев — царицы Тии, царевича Пентаура, Бокакамона и их соумышленников.

Приговор, между прочим, гласит следующее:

«Сии суть люди (это заговорщики), которые приведены были за великое свое преступление пред седалище правосудия, чтобы быть судимыми казнохранителем Монтумтауи, казнохранителем Панфроуи, носителем опахала Каро, советником Пибесат, писцом канцелярии Май и др., и которые были судимы и найдены виновными, и к которым применили наказание, дабы искуплено было их преступление: Главный виновник Бокакамон. Он был управляющим домом. Он был приведен за фактическое соучастие в деяниях госпожи Тии и женщин гаремного дома. Он с ними заключил клятвенный союз и переносил их словесные поручения из дома к их матерям и сестрам, с целью уговаривать людей и собирать противников, чтобы совершить злодеяние против их господина (Рамзеса). Поставили его перед старейшинами судилища, и они нашли его виновным в том, что он таковое делал, и он был совершенно уличен в своем преступлении. Судьи применили к нему наказание, они положили его на месте, где он стоял, перед судилищем. Он умер сам».

Какой это род казни, Бругш-бей не объясняет, равно не объяснил его и Деверия. Бругш-бей по-немецки переводит текст папируса так: «Sie legten ihn nieder, wo er stand. Er starb von selber» [14]. Совершенно непонятно! Неужели должен был сам себя убить обвиненный, но как? Чем?

А вот приговор, постигший других наших знакомых, Пилока и Иини, которые так ловко убили в долине газелей страшного льва, предварительно ослепив его, и хвалились, что таким же способом покончат и с Рамзесом:

«Главный виновник Пилока. Он был советником и писцом казнохранилища. Он был приведен за фактическое соучастие за Бокакамона. Он слушал его сообщения, не донося о том. Он был поставлен перед старейшинами судилища; они нашли его виновным и положили на месте, где он стоял. Он умер сам.

Главный виновный — ливиец Иини. Он был советником. Он был приведен за фактическое соучастие за Бокакамона. Он слушал его сообщения, не донося о том. Поставили его перед старейшинами судилища. Они нашли его виновным. Они положили его на месте, где он стоял. Он умер сам».

Брат наперсницы Тии, вождь иноземного легиона, Банемус, погиб той же ужасной смертью. Папирус говорит о нем:

«Главный виновный — Банемус. Он был вождем иноземного легиона Куши (Эфиопии). Он был приведен за послание, полученное им от сестры его, которая была на службе в женском доме, чтобы он уговаривал людей, которые были противниками царя: „Иди, соверши злодеяние против господина своего“. Он был поставлен пред судилище. Его судили и признали его вину. Они положили его руками своими, где он стоял. Он умер сам».

И верховных жрецов Ири и Имери не спасли их божества — первого богиня Сохет, второго — бог Хормаху. «Судьи положили их руками своими, где они стояли. Они умерли сами». Та же участь постигла и царевича Пентаура: вместо венцов обоих Египтов, Верхнего и Нижнего, и вместо любви Лаодики, которую он погубил своим вниманием, возбудив ревность Аталы, старший сын Рамзеса не удостоился даже погребения.

Самые тяжкие обвинения обрушились на старую голову дедушки Хену — на Пенхи. Приговор над ним сохранился на двух клочках папирусов, попорченных временем, на папирусах Lee и Rollin.

Сохранившийся отрывок папируса Lee гласит: «...всем людям этого места, в котором я (кто этот я?) пребываю, и всем жителям земли. Тогда говорил к нему Пенхи, бывший смотрителем стад: „Если бы я только имел писание, которое давало бы мне крепость и силу“. Тогда он (кто он? Бокакамон? или жрец Ири? или Имери?) дал ему писание из книжных свертков Рамзеса III, великого бога, господина его. Тогда на него нашло божественное волшебство, очарование для людей. Он проник до женского дома и в другое то великое и глубокое место. Он создал человеческие фигуры из воска, имея намерение, чтобы они были внесены рукой Адиромы, чтобы совратить одну из служанок и чтобы навести очарование на других. Внесены были некоторые разговоры, вынесены были другие. Тогда, однако, был он взят к допросу ради их разговоров, и открылось тогда его участие во всякой злобе и всяких дурных делах, которые он имел намерение сделать. И все оказалось правдой, что он все это сделал в союзе с другими главными виновными, которые, как и он, были без бога и без богини. Это были тяжкие смерти, достойные преступления и тяжелые грехи на земле, которые он соделал. Он был обличен в этих тяжелых, смерти достойных преступлениях, кои он совершил. Он умер сам. Ибо старейшины, которые были перед ним, познали, что он должен умереть сам, от себя (von selber, по Бругшу-бею), с другими главными виновниками, которые, как и он, без бога солнца Ра были, сообразно тому, как таковое высказали священные писания, что с ним совершиться должно». Темный перевод папируса!

В отрывке же папируса Роллена приговор над дедушкой Хену передан так:

«Он (Пенхи) сделал некоторые магические писания, чтобы отвратить бедствие; он сделал некоторых богов из воска и некоторые человеческие фигуры, чтобы обессилить, члены одного человека (Рамзеса) и отдал их в руки Бокакамона без позволения на совершение сего от бога Ра ни ему, управляющему домом, ни другим главным виновным, ибо он (жрец Ири, передавший фигуры Бокакамону) говорил: „Да возможете вы проникнуть сим, дабы вы приобрели основание в них проникнуть“. И так он пробовал привести в исполнение постыдные дела, которые он приготавливал, но солнечный бог Ра не разрешил им исполниться. Его взяли к допросу, и открыта была сущность дела, состоящая из разных преступлений и всяких дурных дел, которые сердце его изобрело, чтобы исполнить их. И это была истина, что все это он имел намерение исполнить в союзе с главными виновными, которые были как и он. И было это тяжкими, смерти достойными преступлениями и тяжкими злобами для земли то, что он сделал. Но они (судьи?) познали тяжкие, смерти достойные преступления, которые он соделал. Он умер сам» [15].

Подобная участь постигла более тридцати сановников. Менее важные преступники подверглись сравнительно легкой каре: им отрезаны были носы и уши.

Но главная виновница заговора — Тиа?

Ученые законники Египта не нашли в «священных книгах» указания, какой казни должна была подвергнуться царица. Надо было обратиться к богам.

Истолкователем воли богов явился верховный жрец Аммона-Горуса, всемогущий Аммон-Мерибаст.

— Кто тебе была провинившаяся перед тобой женщина? — спросил Рамзеса великий жрец.

— Она была моя жена, — отвечал фараон.

— Ее дети — чьи создания? — продолжал Аммон-Мерибаст.

— Мои, — был ответ.

— Но они также и ее: их плоть — ее и твоя плоть, их душа — ее и твоя душа?

Рамзес согласился.

— И ты намерен лишиться ее жизни, изгнав из нее душу в пустыни Ливии? — продолжал жрец.

— Да, я хочу ее казнить, — упрямо отвечал Рамзес.

— Но в ней частица твоей души — ты передал ей свою душу, соединяясь с ней: как же изгонишь ты и свою душу в пустыни Ливии? — допрашивал жрец.

Рамзес не знал, что отвечать.

— Что же мне делать, святой отец? — спросил он смиренно.

— Отдать ее на волю богов, — отвечал Аммон-Мерибаст.

— Как же? Оставить ее свободной?

— Нет, пусть злые боги сами вынут из нее душу и бросят в пустыни Ливии, где бродят только львы и шакалы: пусть и она бродит вечно.

— Как же это сделать?

— Замуровать ее живой.

Глаза Рамзеса сверкнули радостной злобой.

— О! Я это исполню: я прикажу вырубить в моем погребальном Рамессеуме обширный склеп для нее, — заговорил он быстро. — Этот склеп я велю вырубить рядом со склепом моей дорогой Нофруры... Пусть она бьется головой в своей могиле о стены, о гранит, пусть стонет там так, чтобы стоны эти слышала ее родная дочь, моя дорогая Нофрура! О, я исполню волю богов!

Когда исполнилось семьдесят «дней плача» после смерти Лаодики и ее стройненькую, обвитую богатыми тканями мумию торжественно хоронили в царственном склепе Рамзеса III, рядом со склепом его любимой дочери Нофруры, среди печального погребального пения жрецов слышны были иногда глухие стоны, исходившие из одного места гранитных стен усыпальницы фараона. Это были стоны Тии, замурованной царицы Египта.

Скоро Рамзес женился на прекрасной хеттеянке-еврейке Изиде, родное имя которой было Хемароцат, и светлокаштановая правнучка Аарона сделалась царицей Египта.

Безутешная Нитокрис долго оплакивала замурованную мать, сестру и сиротку Лаодику.

Любимицей и наперсницей ее стала маленькая Хену, тоже осиротевшая: в женском доме фараона все полюбили эту «священную девочку».

Старая Херсе до самой смерти оплакивала свою питомицу — «богоравную дочь Приама» и с любовью вспоминала о своей бывшей неволе — о жизни в Трое до ее грустного конца.

XXVII. ЭПИЛОГ

Летом 1881 года я посетил Египет.

После восхождения на пирамиду Хеопса, с вершины которой я долго созерцал расстилавшееся перед моими очарованными глазами это мрачное «поле пирамид» и мутный Нил с исполинскими стволами пальм, а взволнованная мысль моя, казалось, переживала бесконечные тысячелетия. Удивительной истории этой удивительной страны, этой колыбели знаний последующих поколений человечества, я, после того, посетил и египетский музей, что в Булаке, под Каиром.

Директор этого музея, знаменитый египтолог Масперо, только что воротился из своей ученой экскурсии, из Верхнего Египта, где он открыл гробницы фараонов и их мумии, в том числе мумии Рамзеса II Сезостриса и Рамзеса III — Рампсинита. При мне эти драгоценные сокровища расставлялись в музее и приводились в порядок.

Меня сопровождал по музею один из второстепенных помощников Масперо, родом грек, любезно показывая мне все достопримечательное и объясняя непонятные для меня иероглифические изображения.

— А это — самая драгоценная для нас, современных потомков Перикла, реликвия, — сказал он, останавливаясь перед изящным саркофагом из порфира.

— Почему же? — спросил я.

— В этом саркофаге покоится тело Лаодики, одной из дочерей Приама, — отвечал грек.

— Как! Каким образом? — не доверял я.

— Г. Масперо, открыв гробницы Рамзесов, нашел в их усыпальнице этот саркофаг с мумией Лаодики, а недалеко от нее, в замурованном склепе, скелет царицы Тии, первой жены Рамзеса III.

Он приказал служителям приподнять крышку с саркофага, и я увидел там мумию.

— Почему вы знаете, что это Лаодика? — спросил я с недоверием.

— Это говорит папирус, который г. Масперо нашел на груди мумии, — отвечал грек.

Я долго смотрел на это высохшее, почерневшее тело, обвитое темными, как бы просмоленными тканями... Столько веков пролетело над ним!

И это Лаодика, «миловиднейшая дочь Приама и Гекубы», как называл ее Гомер, — это сестра Гектора, Париса, Кассандры!...

В каком-то благоговейном умилении я думал: «Что мне Гекуба и что я Гекубе», но меня душили невыплаканные слезы, и я готов был разрыдаться.

Я поспешил уйти из музея.

Примечания

1

В изображении обряда венчания Рамзеса автор главным образом придерживался Шампольона и Мариетта-бея. — Здесь и далее примеч. Мордовцем (кроме переводов иностранных текстов).

2

«История фараонов» Бругш-бея, 393.

3

Хормаху — это Хорус или Горус «в солнечном блеске».

4

Доселе можно видеть изображения битв, где дочери фараонов, на колесницах, лично участвуют в битвах.

5

Эта молитва приводится у Бругша-бея («История фараонов», 411).

6

Бругш-бей («История фараонов», 566).

7

Рамзес III был современником осады и разрушения греками Трои (около 1200 лет до Р. Х.).

8

Многие ученые держатся того мнения, что пирамиды построены не египтянами, не по повелению фараонов-египтян, а народом-пастухами, народом, который владел Египтом до Иосифа. Прототип пирагаед — Вавилонская башня.

9

Хормаху — «солнце полудня», Хепра — «полуночи», Ра — «востока», Тум — «солнце запада».

10

Эта надпись, переведенная только в 1877 г., доказывает, что «велики сфинкс», высеченный из скалы при фараоне Хефрене в 3666 г. до Р. Х., при Тутмесе IV, в 1533 г., был уже занесен песком до половины. Я же видел его в 1881 г., занесенным песком до самых плеч.

11

Эта замечательная эпитафия — не измышление автора. Ее до сих пор можно видеть в Верхнем Египте, в Эль-Кибе, в гробничном покое Аамеса. Это целый некролог, и некролог хвастливый, от своего лица. А разве «памятник воздвиг себе нерукотворный» — не то же ли самое? Не то говорят надписи на памятнике Гамбетты, в Париже, против Лувра.

12

«Мна» — фунт серебра, «кити» — унция.

13

Судебный папирус из Турина (фр.)

14

Они положили его, там, где он стоял. Он умер от собственной руки (нем.)

15

Летописи и памятники древних народов. Египет. История Фаранов Бругша. Перевод И. К. Властова. Спб., 1880, стр. 582-584. Язык переводов Бругша-бея очень темен, не яснее и язык И. Властова.